

Жаклин Уилсон

Девочка-
находка



Девочка-находка Жаклин Уилсон

Вот как это закончилось.

Я сижу в теплом зале и жду. Я не могу есть. Во рту пересохло так, что трудно глотать. Пытаюсь отпить воды. стакан стучит о зубы. Рука дрожит. Я осторожно ставлю стакан на стол и стискиваю кулаки. Я сжимаю их с такой силой, что ногти впиваются в кожу. Мне нужно почувствовать боль. Мне нужно убедиться в том, что это не сон.

Люди смотрят на меня и удивляются, почему я одна. Это ненадолго.

Приди же!

Приди!

Я смотрю в окно и вижу отражение своего бледного лица. И вдруг появляется тень. Кто-то смотрит на меня. И улыбается.

Я улыбаюсь в ответ, а глаза наполняются слезами. Почему я все время плачу? Я сердито промокаю лицо салфеткой. Поднимаю глаза — за окном пусто.

— Эйприл!

Я вздрагиваю. Оборачиваюсь.

— Эйприл, неужели это ты?

Все ещё плача, я киваю. Неуклюже поднимаюсь на ноги. Мы смотрим друг на друга — и протягиваем друг к другу руки. Мы обнимаемся, крепко-крепко, будто знаем друг друга всю жизнь.

— С днём рождения!

— Это лучший день рождения в моей жизни, — шепчу я.

Все позади. И все только начинается.

Ненавижу дни рождения. Конечно, я никому об этом не говорю. Кэти и Ханна решат, что у меня не все дома. А я стараюсь быть такой, как все, чтобы не потерять их дружбу. Иногда я так усердствую, что начинаю за ними повторять.

Если я подцепила словечко «Йе!» от Кэти или танцую, обхватив себя руками, как Ханна, этого никто не замечает. Близкие друзья часто перенимают привычки друг у друга. Но время от времени я перегибаю палку. Как-то раз я начала читать те же книги, что и Кэти. Она меня мигом раскрыла.

— Эйприл, ты не можешь выбрать книгу сама? Почему ты все время повторяешь за мной?

— Прости, Кэти.

Ханна рассердилась, когда я стала укладывать волосы точно так же, как она. Я купила точь-в-точь такие же заколки, резинки и бусинки.

— Это моя причёска, Эйприл, — сказала она, потянув меня за косичку.

— Прости, Ханна.

Когда я извиняюсь, они вздыхают.

— Это неправильно, говорит Кэти. Зачем извиняться перед нами?

— Мы же твои подруги, — добавляет Ханна.

Они действительно мои подруги, и я отчаянно хочу, чтобы они остались моими подругами. У меня никогда не было хороших, обычных друзей. Они считают, что я тоже хорошая и обычная, пускай немного со странностями. Я изо всех сил стараюсь, чтобы они так думали. Ни за что не расскажу им, какая я на самом деле. Лучше умру.

Я так наострилась притворяться, что порой уже не отличаю игру от правды. Я актриса. Мне пришлось сыграть множество ролей. Иногда я думаю: осталось ли во мне хоть что-нибудь от меня самой? Теперь я — смешная Эйприл-плакса. Сегодня мне исполняется четырнадцать лет.

Я не знаю, как пережить этот день. В день рождения притворяться сложнее всего.

Мэрион спрашивала меня, как я хочу провести этот день. Я только мотала головой, но так усердно, что растрепала причёску.

Кэти в день четырнадцатилетия устроила вечеринку с ночёвкой. Мы смотрели ужастики и что-то наподобие эротического фильма, который вызвал у нас приступы хохота и отвратил от секса, наверное, на всю жизнь.

Ханна закатила настоящую вечеринку — дискотеку в здании мэрии. Зал был украшен огнями и свечами. Пришли мальчики — брат Ханны, его друзья и несколько наших зануд-одноклассников. И все же было здорово.

Мне очень понравилось у Кэти. И у Ханны тоже. А вот мой день рождения... Скорее бы он прошёл и забылся!

— Ты уверена, что не хочешь устроить праздник? — спросила Мэрион.

Представляю вечеринку в стиле Мэрион. Шарады, конкурсы типа «Прицепи ослу хвост», сардельки на палочках и фруктовый пунш, как в дни её юности.

Я к ней несправедлива.

Меня достало быть справедливой.

Она меня достала.

Так некрасиво. Она очень старается.

— Может быть, сходим куда-нибудь поужинать? — предложила Мэрион, будто это сулило мне море удовольствия.

— Нет, правда, я не хочу праздновать, — сказала я, позевывая, словно мне было совершенно все равно.

Мэрион нелегко обмануть.

— Я понимаю, как тебе тяжело в день рождения, — мягко сказала она.

— Нормально. День как день, — упрямо твердила я. — Не понимаю, из-за чего поднимать столько шума?

Мэрион вздохнула. Искоса посмотрела на меня.

— Подарки считаются за шум? — спросила она.

— Подарки — это я люблю! — выпалила я, мигом повеселев.

Я с надеждой смотрела на неё. Я столько раз намекала...

— А что ты мне подаришь?

— Дождись — и увидишь, — ответила Мэрион.

— Ну хоть намекни!

— Ни за что.

— Да ладно тебе! Это... это... — Я приложила руку к уху.

— Дождись и увидишь, — повторила Мэрион, расплываясь в улыбке.

Значит, я угадала. Несмотря на её ворчание и недовольство.

Мэрион приносит мне праздничный завтрак в постель. Честно говоря, мне не до завтрака, но я сажусь на кровати и натягиваю улыбку. Она снова налила в хлопья слишком много молока, зато добавила клубнику, а рядом поставила вазочку с крохотными ирисами — в тон извилистым деревьям на фарфоровой тарелке. А ещё на подносе лежит подарок — аккуратная коробочка точно такого размера, как я думала.

— Мэрион! — Я тянусь к ней, почти готовая её обнять.

Поднос качается, и молоко выплёскивается на одеяло.

— Осторожнее, осторожнее! — говорит Мэрион и хватается коробочку, чтобы на неё не попали капли.

— Эй, это моё! — кричу я и забираю коробочку.

Какая лёгкая! Наверное, он из этих плоских современных моделей. Я развязываю ленту и срываю обёртку. Мэрион машинально разглаживает бумагу, а ленту наматывает на палец. Я снимаю крышку с коробочки и вижу внутри другую, поменьше. В ней оказывается ещё одна, совсем маленькая. Слишком маленькая.

Я вспоминаю, как в нашем приюте подшутили над одной из девочек. Она открывала коробку за коробкой, а на дне последней лежал спичечный коробок. Пустой. Все смеялись, и я тоже, хотя мне хотелось плакать.

— Давай открывай, — торопит Мэрион.

— Это что, шутка? — спрашиваю я.

Но зачем ей надо мной издеваться?

— Я не хотела, чтобы ты сразу угадала, что внутри. Но ты и так знаешь. Открывай же, Эйприл.

И я открываю. Вот и последняя коробочка. Внутри лежит подарок. Не тот подарок.

— Серёжки!

— Нравятся? Это лунный камень. Я подумала, они пойдут к твоим голубым глазам.

Я едва слышу, что она говорит. Я слишком разочарована. Я была уверена, Мэрион подарит мне мобильник. Она улыбнулась, когда я... И тут я все понимаю. Она решила, что я показываю на дырки в ушах.

Эти модные серёжки — знак примирения. Мэрион раскричалась, когда узнала, что Кэти и Ханна затащили меня в «Аксессуары Клэр» и уговорили проколоть уши. Можно подумать, я проколола язык.

— Что с тобой? — спрашивает она. — Тебе не нравится лунный камень?

— Нравится. Чудесные серёжки. Просто... — Я уже не могу сдерживаться. — Я думала, ты подаришь мне мобильник.

Мэрион удивлённо смотрит на меня:

— Но, Эйприл, ты же знаешь, как я отношусь к мобильным телефонам!

Конечно, знаю. Она все время твердит, что мобильники вызывают рак и причиняют неудобство окружающим. Тоска смертная. Плевать! Я хочу мобильник, как у всех девочек моего возраста. Кэти на четырнадцать лет получила сотовый. Ханна на четырнадцать лет получила сотовый. Всем нормальным людям дарят сотовые на четырнадцать лет, если не раньше. У всех девятиклассниц есть мобильники. И даже у многих восьмиклассниц.

Кажется, я одна во всем мире лишена средства связи. Я не могу послать смешную SMS, позвонить подруге или получить от неё звонок. Я отстала от жизни. Выпала из неё.

Как всегда.

— Я хотела мобильник! — чуть не плачу я.

— Ради бога, Эйприл, говорит Мэрион. — Ты же знаешь, как я отношусь к мобильным. Я их ненавижу.

— Но я-то нет!

— Бесполезное изобретение. А эти нелепые мелодии, звучащие повсюду! А люди, снимающие трубку, чтобы сообщить: «Привет! А я еду в поезде!» — как будто это кому-то интересно!

— Это интересно мне. Я хочу знать, что делают мои подруги.

— Глупости. Ты видишься с ними каждый день.

— Кэти вечно шлёт SMS Ханне, а та ей отвечает, и они вместе смеются, а мне остаётся смотреть на них, потому что у меня нет мобильного!

— Да, Эйприл, это нелегко. Но тебе придётся привыкнуть к этому. Я говорила тебе сотню раз...

— Если не тысячу.

— Пожалуйста, оставь свой мрачный тон, это начинает раздражать.

— Я тебя раздражаю? Ничем не могу помочь. Не вижу ничего дурного в том, чтобы хотеть мобильный телефон, когда он есть у каждого второго подростка.

— Не смей меня.

— Чем я тебя так смешу? Я всего лишь хочу быть как все. У Кэти есть мобильный. У Ханны есть мобильный. Почему мне нельзя иметь мобильный?

— Я только что тебе объяснила.

— Да? А меня тошнит от твоих объяснений. Кто ты такая, чтобы мне указывать? Ты мне не мать.

— Послушай, я пытаюсь...

— А мне это не нужно!

Это вырывается у меня само собой. В комнате становится очень тихо.

Это неправда.

Это правда.

Мэрион устало опускается на край кровати. Я смотрю на поднос. На голубые серёжки из лунного камня.

Я ещё могу извиниться. Поблагодарить за подарок. Съесть хлопья. Вдеть серёжки в уши, крепко поцеловать Мэрион и сказать, что мне очень нравится лунный камень.

Но я так мечтала о мобильном. Не понимаю, что плохого она в них нашла? Это же просто телефон! Неужели она не хочет, чтобы я могла общаться с подругами?

Может, Мэрион хочет стать мне единственной подругой? Что ж, мне она не нужна.

Я встаю, отодвигаю поднос, иду в ванную и захлопываю дверь перед носом Мэрион. Я хочу, чтобы она перестала лезть в мою жизнь. Я не стану носить её дурацкие серёжки. Да, я мечтала о них — несколько месяцев назад, когда просила её разрешить мне проколоть уши. Она что, потеряла счёт времени? Меня достало, что она все время что-нибудь да напутает.

Я умываюсь. Одеваюсь. Мэрион спустилась вниз. Выйти бы из дома, не столкнувшись с ней. Почему она всегда заставляет меня чувствовать себя виноватой? Я не виновата. Я не просила её обо мне заботиться. Я не надену серёжки. Не хочу, чтобы у меня в ушах болтались эти детские висюльки. Надоело думать о том, как бы не ранить её чувства.

Мэрион стоит у входной двери, забирает почту. Моё сердце делает сальто. Три поздравительные открытки — все не те. Глупо. Она не знает, где я живу. Скорее всего, она даже не знает, как меня зовут. Как же она может меня найти?

Мэрион наблюдает за мной. На её лице сочувствие. От этого мне становится только хуже.

— Эйприл, я знаю, как тебе тяжело. Я все понимаю.

— Ничего ты не понимаешь!

Она сжимает губы так плотно, что они почти исчезают. Дышит, раздувая ноздри, как лошадь.

— Для тебя это непростой день, но это не значит, что надо на меня кричать. Ты ведёшь себя как маленькая капризная девочка. Ты даже не поблагодарила меня за серёжки.

— Ну спасибо!

Слова звучат грубее, чем я хотела. От стыда на глаза наворачиваются слезы. Я не хочу её обидеть.

Нет, хочу.

— Меня достало вечно твердить «спасибо» да «пожалуйста», будто я какая графиня. Не хочу быть такой, как ты. Хочу быть собой! — бросаю я и выскакиваю за дверь — в школу.

Я не прощаюсь.

Не хочу думать о Мэрион. Мне становится стыдно. Я выселяю её образ подальше, на задворки памяти, где уже теснится множество других образов.

Я думаю о себе. Когда я остаюсь одна, то перестаю понимать, как быть собой. Я не знаю, кто я такая. Есть только один человек, который может мне помочь, но как её найти?..

Я ищу способ.

Я захожу в магазин на углу улицы. Радж улыбается мне:

— Привет, Эйприл.

Я прохожу мимо шоколадок, чипсов, газированных напитков. Разглядываю газеты, сложенные аккуратными черно-белыми стопками. «Таймс». В ней есть колонка частных объявлений. Как-то раз на уроке обществоведения мы разбирали её рубрики.

Не могу же я развернуть газету и начать читать. Радж прикрепил к полкам таблички: «Здесь не библиотека. Купите, а потом читайте».

Я покупаю газету. Радж недоверчиво смотрит на меня.

— Решила взяться за ум, Эйприл? — спрашивает он.

— Вот именно, — отвечаю я.

— Это первоапрельская шутка, да?

— Нет. Я хочу купить газету.

— Ох уж эти девчонки! — говорит Радж, будто я пытаюсь его провести.

Он не знает, что первого апреля я никогда ни над кем не шучу. Не ставлю ведра на дверь, не втыкаю иголки в сиденья, не кричу: «Эй, у тебя вся спина белая!» В этот день мне кажется, что ко мне подкрадывается тень, что со мной произойдёт нечто страшное. Поскорее бы оно произошло.

Я даю Раджу деньги. Он подозрительно разглядывает каждую монету, будто ждёт, что она шоколадная. Все-таки я его провела. Фокус в том, что никакого фокуса нет.

Сообщения тоже нет. Я выхожу из магазина, прислоняюсь к стене и листаю страницы.

Ветер рвёт газету из рук. На дворе апрель. Почему я не родилась в любой другой день? День дураков. Ну и шуточки у судьбы.

Некоторые сообщения кажутся зашифрованными. Мне не удаётся их разгадать. От неё ничего нет. Никаких «С днём рождения! Первого апреля я всегда думаю о тебе». Вспоминает ли она меня? Я постоянно о ней думаю. Я совсем не знаю, какая она. Могу только воображать.

Воображать я умею.

По истории нам часто задают представить себя на месте римского центуриона, или Марии Тюдор, или лондонского беспризорника и написать об этом сочинение. Миссис Хантер всегда ставит мне «отлично», несмотря на то что я чересчур увлекаюсь и забываю о правописании и пунктуации.

Но меня не ругают. В этой школе все хорошо. Я догнала остальных. В прежних школах меня считали то умственно отсталой, то непроходимой тупицей, а некоторые учителя, зная о моем прошлом, перешёптывались и закатывали глаза. Одноклассники дразнились и обзывались. Боже мой, такое ощущение, что я не рассказываю, а играю на скрипке тоскливую, жалостливую мелодию.

Не стоит меня жалеть. В этой школе никто не знает о моем прошлом. Я — обычная девятиклассница, светленькая невысокая девочка по имени Эйприл, известная только как подруга Кэти и Ханны. Никто не считает меня странной, разве что дразнят плаксой. Однажды на уроке нам рассказывали о маленьких беженцах, оставшихся без родителей. Я заревела в голос. Я прорыдала не только урок, но и перемену. Ханна суетилась вокруг меня с

бумажными платками, и тут к нам подошёл учитель, решивший, что у меня случилась беда. Но Ханна сказала ему:

— Это же Эйприл, она всегда плачет.

А Кэти добавила:

— Мы зовём её Эйприл-плакса.

С тех пор это моё прозвище. Оно лучше, чем Эйприл-дурочка.

Оно куда лучше, чем Ребёнок со свалки.

Это и есть настоящая я. Обо мне писали газеты. Я стала знаменитостью. Не каждый, едва родившись, попадает на первую полосу. Но не каждого выкидывают в помойку, как мусор. Не каждая мать смотрит на своё новорождённое дитя и думает: «Нет уж, такой ребёнок мне не нужен, пойду его выкину».

Мусорный бак вместо кровати. Коробка из-под пиццы вместо подушки, газета вместо одеяла, смятые салфетки вместо матраса.

Что это за мать, которая выкидывает собственное дитя?

Я к ней несправедлива. Не думаю, что она меня ненавидела. Она просто до смерти испугалась. Вдруг никто не знал, что она ждёт ребёнка, а она боялась сказать?

Я задумываюсь.

Почему она решила от меня избавиться? Она одинока. Она не может обо мне позаботиться. Она совсем юная. Вот почему она не может забрать меня домой.

Приходит боль, и она не знает, что делать. Может быть, она школьница. Она хватается за живот и охает. Соседка по парте спрашивает, что с ней. Она не может ответить: «Так, ерунда. Я всего-навсего рожаю и потому испытываю адские муки».

Она качает головой и говорит, что у неё схватило живот. Возможно, притворяется, что у неё критические дни. А может быть, она думает, что у неё на самом деле критические дни! Вдруг она не догадывается, что ждёт ребёнка?

Нет, глубоко внутри она, конечно, знает, но думать об этом так страшно, что она гонит от себя эти мысли. Именно поэтому она не решила, что будет делать. Даже сейчас, когда я толкаюсь, стремясь выйти наружу, она не до конца верит в моё существование.

Сейчас, на уроке, это кажется ей нелепицей. Интересно, какие предметы она любит? Историю, как я? Умна ли она? Есть ли у неё подруги? Наверное, нет. Ни одного по-настоящему близкого человека, которому могла бы довериться. Быть может, у неё лишний вес и никто не заметил, что в последнее время она поправилась. Она носила широкие свободные свитера и отпрашивалась с физкультуры, так что в школе ничего не заподозрили.

А дома? Неужели её мама тоже не заметила?

Наверное, маме до неё нет дела. Возможно, она боится отца, потому и не сказала родителям. Она им не доверяет.

Как это случилось?.. Она не из тех девушек, что спят с каждым встречным-поперечным. Она тихоня и скромница. Парни не смотрят в её

сторону, но однажды — ровно девять месяцев назад — её приглашают на вечеринку. Она чувствует себя лишней и хочет уже уйти, но тут появляется этот парень, чей-то двоюродный брат. Он садится рядом с ней и заводит разговор, будто она ему в самом деле интересна.

Музыка играет так громко, что они едва друг друга слышат. Они идут на кухню, чтобы выпить. Вообще-то она не пьёт: разок пробовала вино, пару раз — пиво. Ей не нравится вкус спиртного. Но он приносит ей что-то сладкое, с фруктами наверху. Коктейль пьётся удивительно легко и оставляет внутри приятное ощущение. Ей приятен и сам парень. Он держит её за руку, их головы соприкасаются. Она выпивает ещё бокал, затем ещё. На кухню приходят другие гости, и они выносят свои коктейли в сад.

В кухне было так жарко, что её лицо порозовело, как коктейль. Но на улице прохладно, и она начинает дрожать. Он обнимает её, чтобы согреть.

«Ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спрашивает он и целует её.

Она не может поверить, что это наконец произошло. Все слишком хорошо, просто прекрасно, но он торопится, он спешит. Что он делает? Нет, не надо, она не хочет, не хочет. Но он отвечает:

«Я знаю, на самом деле ты хочешь. Я люблю тебя», — говорит он.

Ей никто никогда не говорил таких слов, и она позволяет ему себя любить, и вот все кончилось, и он уходит, оставляя её одну.

Когда она перестаёт плакать, то приводит себя в порядок и возвращается в дом. Его нигде нет. Она ищет на первом этаже, на втором. Она спрашивает гостей, не видели ли они, куда он пошёл. Его зовут...

Не знаю, как его зовут. Возможно, даже она не знает. Он исчез. Она возвращается домой, засыпает в слезах, а наутро все произошедшее накануне кажется сном. Она не уверена, было ли это на самом деле.

Нет, она его не забыла. Она думает о нем весь день и половину ночи, но он уже не кажется ей реальным. Он стал далёким, как рок-звезда, предмет девичьих грёз.

Она не думает о ребёнке. От грёз и фантазий не рождаются дети. Проходят недели. Месяцы. Она чувствует, что её тело меняется, но не хочет об этом думать. Едва её посещает страшная мысль, она принимается напевать, чтобы развеять тревогу. Этого не может быть. Только не с ней.

Но это... это происходит. Первое апреля. Она уже не может сидеть. Она боится, что это случится с ней при всем классе. Она встаёт и говорит учительнице, что ей нездоровится. Она побледнела, на лбу капли пота. Учительница отпускает её домой.

Она не идёт домой. Там её мать — смотрит телевизор, развалившись на диване. Она не знает, куда ей пойти. Боль усиливается. Теперь болит не только живот — болит все тело. Она едет в автобусе и не может сдерживать стонов. Она сходит на несколько остановок раньше, и её сразу же начинает рвать.

Она думает, что, возможно, отравилась, и теперь её тошнит, но боль не уходит, а становится невыносимой. Пробка, закупорившая её тело, шевелится и толкается внутри. Она едва держится на ногах. Прохожие

начинают на неё оглядываться, и она заставляет себя дойти до торгового центра, где есть туалет. Она запирается в кабинке и громко стонет. Снаружи раздаются голоса. Проходит минута, и в дверцу стучат:

«Вам плохо?»

Она молчит, надеясь, что доброхоты уйдут, но стук не прекращается. Звенят ключи. Сейчас они ворвутся к ней.

«У меня болит живот», — бормочет она.

«Вызвать врача?»

«Нет! Не надо. Уже почти прошло. Я сейчас выйду».

Она глубоко вздыхает, надеясь, что боль оставит её хотя бы на минуту, и выходит. Она видит вокруг взволнованные лица и спешит наружу, куда угодно, в любое место, где можно остаться одной.

Пошатываясь, она бредёт к противоположному входу в торговый центр, обходит кинотеатр. Там, у ресторанчика под названием «Пицца Плейс», тоже есть туалет, туалет, где нет служащих. Она едва плетётся. Скорее бы вытолкнуть из себя эту пробку.

Туалет заперт на ключ и щеколду. Теперь ей некуда идти. Слишком поздно. Время пришло, она знает, она чувствует. Скорчившись за мусорными баками, она снимает бельё, тужится, тужится, тужится — и внезапно на свет появляюсь я.

Я лежу в её ладонях. Я не похожа на розовых счастливых младенцев с телеэкрана. Я лиловая, как слива, скользкая и чужая. Она не верит, что я настоящая. Я — чужеродное существо, связанное с её телом одной нитью.

Быть может, я плачу.

Быть может, плачет она. Всхлипывает от боли и страха. Открывает школьную сумку и достаёт перочинный ножик и резинку. Щёлк — и нить перерезана.

Навсегда.

Она сморит на меня.

Я смотрю на неё.

Как жаль, что я совсем её не запомнила.

Я смотрю на яркий, мельтешащий мир широко распахнутыми глазами.

Она держит меня в руках.

Поднимает меня.

Но не прижимает к груди. Она открывает крышку бака и бросает меня внутрь. Крышка закрывается. Темнота. Я теряю её. Навсегда.

Я лежу в темноте. В мусорном баке.

Что я делаю?

Плачу, конечно же. Эйприл-плакса.

Мой рот размером с мятную конфету, а лёгкие не больше чайной ложки, но я стараюсь изо всех сил. Я рыдаю и надрываюсь, размахивая кулачками; моё лицо сморщилось, колени прижаты к груди.

Но крышка плотно закрыта. Никто не слышит моих криков. Да и кому слушать? Она исчезла. Туалет заперт, и в переулок никто не заходит.

Я не сдаюсь. Я плачу и плачу, краснея, как малина. На лбу выступили вены, волосики взмокли от натуги. Я насквозь мокрая — у меня нет даже подгузника. Я ничем не прикрыта. Если я прекращу плакать, то замёрзну.

Она не возвращается, но я все равно плачу. У меня болит горло, но я не останавливаюсь. Мои глаза закрыты, я так устала, что больше всего мне хочется умолкнуть и уснуть. Но я не сдаюсь. Я плачу...

Внезапно крышка приподнимается.

— Киска? Тебя закрыли внутри? Подожди, сейчас я тебя спасу.

Свет. Розовое пятно. Лицо. Не её лицо. Лицо мужчины. Мальчика. Фрэнки. Он учится в колледже, а вечерами подрабатывает в «Пицца Плейс». Разумеется, я этого ещё не знаю. Но он — человек, и я отчаянно прошу его о помощи.

— Ребёнок!

От неожиданности он отшатывается, будто я представляю опасность. Его рот распахнут. Он роняет мешок с мусором, принесённый с кухни. Качает головой, словно не верит, что я там, и осторожно трогает меня пальцем, проверяя, не почудилось ли ему...

— Бедняжка!

Он берет меня на руки, неуклюже, но очень нежно. Поднимает в воздух и смотрит.

Она разглядывала меня точно так же. Сейчас он бросит меня в бак. Но вместо этого он бережно прячет меня под рубашкой — меня, мокрую и грязную.

— Ну вот, произносит он, убаюкивая меня.

И торопится назад в кухню. Со стороны кажется, что у него внезапно вырос пивной живот.

— Что у тебя там, Фрэнки? — спрашивает одна из женщин.

Элис. Она годится Фрэнки в матери, но ведёт себя с ним как подруга.

— Младенец, — отвечает он, понизив голос, чтобы не разбудить меня, хотя на кухне стоит треск и звон.

— Ну да, как же! — не верит она. — Что это? Кукла, которую выбросили в мусор?

— Смотри, — говорит Фрэнки и наклоняется, чтобы она могла заглянуть ему в рубашку.

Я тихонько воркую и пытаюсь схватить его за живот крохотными пальчиками.

— Господи боже мой! — кричит Элис так громко, что сбегаются все официанты и повара.

Поднимается шум, в меня тычут пальцем.

— Не надо! Вы её пугаете. Думаю, она голодная, — говорит Фрэнки. — Посмотрите на её рот. Она что-то ищет.

— Что-то, чего у тебя, Фрэнки, нет!

— Молоко? — говорит Фрэнки. — Давайте согреем ей молока.

— Она слишком маленькая. Новорождённая. Надо вызвать «скорую», — говорит Элис. — И полицию.

— Полицию?

— Её ведь кто-то бросил. Давай, Фрэнки, я её у тебя возьму.

— Нет. Я сам подержу. Это я её нашёл. Я ей нравлюсь, смотри.

Мне нравится Фрэнки. Раз уж у меня нет мамы, пускай он будет моим папой. Когда врачи пытаются забрать меня из-под его рубашки, я начинаю пищать. Мне нужно его тепло, его ласка, его забота.

— Вот видите, я ей нравлюсь, — гордо повторяет Фрэнки.

Он укутывает меня в рубашку и садится в «скорую помощь». Он остаётся со мной в больнице и следит, как сестра купает меня и заворачивает в пелёнку.

— Фрэнки, можешь дать ей её первую бутылочку, — говорит сестра.

Она сажает его на стул и кладёт меня ему на руки. Под рубашкой, кожа к коже, мне нравилось больше, но так тоже хорошо. Пелёнка слегка стесняет движения. Фрэнки прикасается к моему рту резиновой соской бутылочки. Я тут же хватаю её губами. Мне не надо показывать, как сосать. Это я знаю сама. Я начинаю пить и не могу остановиться. Все заволакивает туманом. Я забываю маму. Забываю больницу, врачей и сестёр. Забываю даже Фрэнки. В целом мире существую лишь я — и бутылочка. Мне хочется пить вечно. Затем я засыпаю... А когда просыпаюсь, Фрэнки уже нет.

Я плачу. Но он не приходит.

Приходят и сменяются сестры.

Быть может, это и есть жизнь, думаю я. Никто не остаётся навсегда. Неизменна только волшебная бутылочка, и я привязываюсь к ней.

Но вот ко мне тянутся знакомые руки, и я вновь оказываюсь под рубашкой, прижимаясь щекой к коже. К его коже. Фрэнки вернулся.

Конечно, не по-настоящему. Нас фотографируют для газет. Думаю, меня показали и по телевизору, но никто не сделал запись. Разве что она. Моя мама.

Сохранила ли она газетную вырезку с фотографиями? Узнала ли она меня?

РЕБЁНОК СО СВАЛКИ

Семнадцатилетний студент колледжа Фрэнки Смит, подрабатывающий в ресторане «Пицца Плейс» на Хай-стрит, сделал неожиданную находку. Вынося мусор, он услышал тонкий плач, доносившийся из бака.

— Я думал, там кошка, — рассказал Фрэнки. — Но когда поднял крышку и увидел внутри ребёнка, я чуть с ума не сошёл.

У Фрэнки есть двое младших братьев, о которых он привык заботиться, поэтому он не колебался, что делать с ребёнком. Он согрел малышку, спрятав её под одеждой.

Фрэнки отвёз девочку в госпиталь имени святой Марии. Врачи осмотрели её и сказали, что пребывание в мусорном баке не повредило её здоровью. Они полагают, что девочку бросили, как только она родилась. Её матери требуется врачебная помощь. Мы просим её приехать в госпиталь имени святой Марии, где она сможет воссоединиться с дочерью.

На девочке не было даже пелёнки, поэтому никто не знает, где искать её родных. Она здоровенькая, белокожая, светловолосая и весит три килограмма. Сестры в больнице называют её очаровательным ребёнком. Малышку назвали Эйприл, потому что она родилась первого апреля.

— Сначала я решил, это чья-то шутка, — улыбается Фрэнки, прижимая к себе крошечную Эйприл. — Если мать за ней не вернётся, может быть, мне разрешат её удочерить?

Жаль, что тебе не разрешили, Фрэнки.

Жаль, что тебе давно не семнадцать. Интересно, мы смогли бы поладить? Я так и осталась маленькой, самой низкой в классе — во всех классах, где я училась, попробуй, сосчитай. Я худенькая, вопреки всем усилиям Мэрион меня раскормить. Она пичкает меня молоком: молоко с хлопьями, молоко с мюсли, молочные коктейли, рисовые пудинги, какао с молоком, клубничные шейки. Она изобретательна, отдаю ей должное, и с моей стороны несправедливо воротить нос и кривить губы, но я терпеть не могу молоко — хотя когда-то сосала его так усердно, что сдёргивала соску с бутылочки. Да, Фрэнки, я так толком и не выросла, но меня уже не спрятать под рубашкой.

Интересно, как бы это выглядело? Быть может, у тебя теперь волосатая грудь и пивной живот. Тебе тридцать один. У тебя наверняка свои дети.

На фото в газете ты очень симпатичный. Я зачитала статью до дыр. Я так близко подносила пожелтевшую бумагу к глазам, что наши с тобой лица расплывались тысячами маленьких точек. От меня там только голова. Остальное скрыто под твоей рубашкой.

Мои глаза открыты, я смотрю на тебя. Я щурюсь от яркого света — и все же смотрю на тебя, а ты смотришь на меня. Ты улыбаешься так, будто я особенная. Может быть, так велели фотографы, чтобы сделать трогательный снимок. Может быть, ты действительно меня полюбил. Но в таком случае... почему ты ни разу не появился? Возможно, тебе запретили мои приёмные родители. Возможно, ты пытался со мной встретиться. Вдруг ты не шутил, когда сказал, что хотел бы меня удочерить?

Семнадцатилетним мальчикам не доверяют брошенных девочек. Почему? Если бы моя настоящая мать примчалась в больницу и сказала, что хочет взять меня назад, ей бы наверняка разрешили. Пускай она бросила меня в мусорный бак и захлопнула крышку. Все дело в том, что мы — родственники. Кровь гуще воды. Она единственный кровный родственник, о котором я знаю точно — и о котором я ничего не знаю.

Я постоянно о ней думаю. Ну, не совсем постоянно. У меня новая жизнь. Вполне счастливая. Меня любят. У меня есть дом. Мне нравится новая школа. У меня хорошие подруги — Кэти и Ханна...

Интересно, что они мне подарят? Кэти, наверное, книгу. Не для девочек, а для девушек — в яркой обложке и с кучей подробных описаний любовных сцен. Наверное, сперва она прочитает её сама. Пускай. На перемене мы встанем кружком, будем зачитывать отдельные пассажи вслух и хохотать до колик.

Ханна подарит косметику. Нет, лак, какой-нибудь яркий, необычный цвет, и мы будем раскрашивать друг другу ногти на большой перемене.

У нас будет чудесный завтрак. Обычно мы приносим еду из дома, но Мэрион не даёт мне ничего вкусного. (Хлеб из отрубей, сыр, морковь, йогурт и салат, будто я обезьянка.) У нас с Кэти и Ханной традиция: по праздникам мы убегаем в кондитерскую и покупаем пончики со сливками.

Я думаю о пончиках, и мой рот наполняется слюной. У меня никогда не было праздничного завтрака. Я хочу праздничный пончик, хочу к Кэти и Ханне, хочу весёлый день рождения, как у всех. Но я не такая, как все. Я сама по себе.

Я иду дальше, мимо школы. Я ускоряю шаг — ещё заметят. Я бегу. Не могу идти в школу. Не могу идти домой. Мне надо вернуться назад.

— Нельзя оглядываться назад. Нужно двигаться вперёд. — Так сказала Кэти, и её голос был твёрд.

Разумеется, она говорила не обо мне, а о Ханне. Дело было всего-навсего в мальчике, который пригласил Ханну на свидание. Всего-навсего. Мальчика звали Грант Лэйси. Если бы вы учились в нашей школе, вам бы это о многом сказало. Даже имя у него не такое, как у всех, — так зовут рок-звёзд или футболистов. А посмотришь, как за ним бегают девчонки, — и поверишь, что он действительно рок-звезда. Однажды он наверняка станет знаменитым. Он играет в школьном оркестре — классические пьесы, изредка джаз, — а на переменах выдаёт соло на гитаре. То яростно и напористо бьёт по струнам, то нежно и тоскливо перебирает их, глядя на тебя так, словно влюблён. А ещё он хороший футболист. Может быть, не такой хороший, как профессиональные спортсмены, но кому нужны эти жалкие недоумки, похваляющиеся своими мышцами? Гранта взяли в школьную команду: во-первых, он самый популярный парень в школе, а во-вторых, у него потрясающие ноги, стройные, длинные и сильные, и каждая девочка в школе мечтает пройти с ним рядом.

Так говорят девчонки. Я подражаю им и делаю вид, что с ума схожу по Гранту, как Ханна, Кэти и все остальные. Но втайне от всех я считаю, что он самовлюблённый болван. Он мне не нравится даже внешне. Он красивый. Слишком красивый. Знаете, как бывает, когда перекрутишь яркость телевизора и красный цвет кажется варёным, как панцирь лобстера, а зелёный как трава в стране Телепузиков? Кто-то переборщил с настройками Гранта. Его черты слишком правильные, слишком точёные, волосы слишком светлые, глаза слишком синие, улыбка чересчур ослепительная. Ну и улыбка! Готова спорить, он каждый вечер тренирует её перед зеркалом. Один уголок губ поднимается вверх, второй слегка опускается вниз, без излишнего оптимизма. Улыбка говорит: «Да, я крут!» Он улыбнулся Ханне — и она полетела к нему, не чувствуя под собой ног.

Мы страшно удивились. Ну конечно, мальчики всегда обращают внимание на Ханну. Нас с Кэти они не замечают. Кэти крупная, весёлая; она прыгает на людей, как Тигра. Я больше похожа на Пятачка — маленькая, розовощёкая, волосы забраны в хвост. А вот Ханна скорее

напоминает Барби, чем мягкую игрушку. У неё светлые волосы, как у Барби, и сногшибательная фигура. Мальчишки не дают ей прохода. Наши ровесники, но никак не одиннадцатиклассники вроде Гранта. Ханна поёт в хоре. Иногда они репетируют с оркестром, и вот несколько недель назад Грант небрежно предложил нашей Ханне зайти в «Макдоналдс» по пути домой.

Ханна — вегетарианка, она не ест в «Макдоналдсе», но ради Гранта готова съесть корову вместе с костями. Они отправились туда, и Ханна заказала картофель фри. Она была на седьмом — нет, семьдесят седьмом небе от счастья. Над её головой светили звезды, и стада маленьких коров прыгали через лунные галактики. Грант проводил Ханну домой, хотя им было совершенно не по пути. Ханна сказала, что её сердце колотилось как бешеное, когда она представляла, как он поцелует её на прощание. Она мечтала, чтобы он её поцеловал, и в то же время до смерти смущалась, жалея, что не может предварительно почистить зубы и нанести блеск для губ.

Она тараторила без умолку всю дорогу домой. Грант наградил её своей знаменитой улыбкой, от которой девчонки падали штабелями, наклонился и поцеловал её.

Ханна затаила дыхание. Она рассказывала, что это было прекрасно, но она так волновалась, что готова была не то рассмеяться, не то разрыдаться. Она так долго сдерживала дыхание, что у неё закружилась голова. Грант посмотрел ей прямо в глаза. Это было слишком. Она не выдержала... и чихнула ему прямо в лицо. Он в испуге отпрянул. Это было так смешно, что она не удержалась от хохота. Она захлёбывалась смехом и не могла остановиться.

— Прости, — выдавила она, держась за живот.

Грант смерил её уничтожающим взглядом и удалился. Она окликнула его, но он даже не обернулся.

Ханна поняла, что все испортила, и разрыдалась. На следующий день она попыталась извиниться, но Грант только вздёрнул бровь.

— Я не ожидал, что ты такая маленькая и глупая, — сказал он и ушёл.

После этого он перестал её замечать. Сердце Ханны было разбито. Она написала ему, но он не ответил. Она собралась с духом и набрала его номер. Она оставляла у него на автоответчике короткие тоскливые сообщения, но он не перезванивал. Она пригласила его на день рождения, но он не пришёл.

— Ну почему я такая дура? — плакала Ханна. — Как же так вышло? Чихнула прямо ему в лицо! У меня из носа потекло. Я чуть не умерла, когда увидела себя в зеркало. Он наверняка решил, что у меня не все дома, — хохочу как безумная, а в ноздрях зеленые пузыри!

Я обняла бедняжку Ханну, а Кэти принялась говорить, что нельзя оглядываться назад и нужно двигаться вперёд...

Но утешила Ханну её мама. На дне рождения она танцевала вместе с нами, как девчонка, а когда все стали расходиться и Ханна разрыдалась, потому что её надежда увидеть Гранта окончательно лопнула, мама обняла её, пригладила ей волосы, поцеловала в нос и сказала, что Ханна стоит

десятка таких, как Грант Лэйси, и ещё встретит много гораздо более достойных мальчиков.

Я расплакалась. Все решили, что Эйприл-плакса переживает за бедную Ханну. Конечно, мне было её жаль, но ещё больше мне было завидно — да так, что я чуть не позеленела. Нет, мне не нравился Грант Лэйси. Я завидовала Ханне потому, что у неё такая чудесная мама.

Я завидую и Кэти, хотя её мама скорее из породы наседок. Она хватается за телефон, стоит дочери задержаться на пять минут в школе, и зовёт её пышечкой и крохотулечкой, будто Кэти два года. Кэти смущается. Я сочувственно качаю головой, но к глазам подступают слезы, и я сердито моргаю, чтобы отогнать их.

Я хочу, чтобы у меня была мама, которая сможет меня обнять и поцеловать. Мама, которая будет за меня волноваться. Мама, для которой я навсегда останусь маленькой девочкой.

Разумеется, я ничего не говорю Кэти и Ханне. Они уверены, что у меня есть мама. Они видели Мэрион от силы два-три раза. Наверное, они удивились, что она довольно пожилая, но ни словом об этом не обмолвились. Они считают, это круто, что я зову её по имени.

— А когда ты была маленькой, ты звала Мэрион мамой? — спросила Кэти.

Я выкрутилась, сказав, что всегда звала её Мэрион.

Я не могу называть её мамой.

В моей жизни было множество женщин, которых я звала мамами. Первую я даже не помню. Патриция Уильямс. Так написано в моем досье. Это огромная папка, набитая вырезками, письмами и отчётами. На ней стоит моё имя, но мне не позволялось туда заглядывать, пока я не переехала к Мэрион. Она настояла на том, чтобы я все прочла. Сказала, ей нет дела до установленных порядков, если они нарушают моё право знать о своём прошлом. Мэрион умеет добиваться своего и не пасует даже перед социальными работниками. Она не кричит и не спорит. Она спокойно и твёрдо говорит, как намерена поступить. И вот у меня в руках толстенная папка. Ребёнок со свалки, перед тобой твоя жизнь.

Многое я помню и так. В детстве у меня был альбом с вырезками. В интернатах не любят слово «вырезка», потому что не хотят, чтобы дети чувствовали себя отрезанными кусочками бумаги, которые ветер несёт незнамо куда. Но я себя именно так и чувствую. Знаете, как если сложить лист бумаги и вырезать фигурку, а затем развернуть, получается цепочка кукол? Они кажутся одинаковыми, но их можно раскрасить в разные цвета, одной подрисовать очки, второй — яркие губы, третьей — узор на платье. Я — цепочка бумажных кукол. В каждой семье, где я жила, я была той же самой девочкой, но раскрашенной в новый цвет.

Патриция Уильямс стала моей первой мамой. Пришла и ушла. Она брала в дом брошенных детей, младенцев, и растила их до года. Из больницы меня перевезли прямо к ней.

Интересно, она меня помнит? Я её совершенно не помню. Иногда мне снится, что кто-то берет меня на руки, прижимает к груди и целует. У Кэти

есть дневник, куда она записывает свои сны. Однажды мы забились в угол школьного двора и стали говорить о сновидениях. Я на миг потеряла осторожность и рассказала им о своём сне. К счастью, они не дали мне закончить и принялись стонать от хохота, думая, что мне привиделось романтическое свидание с мальчиком. Я не стала их разубеждать — мне было слишком стыдно сказать правду. Нормальным людям не снится, что они снова младенцы. Не знаю, чьи это были руки. Уж точно не мамы. Она не обнимала меня и не целовала. Она взяла меня за ноги и засунула в мусорный бак — так я себе это представляю.

Может быть, мне снилась моя первая приёмная мать, миссис Уильямс? Мне кажется, что она большая, мягкая, пахнущая хлебом и свежевывглаженным бельём. Вот бы она снова взяла меня на руки! Сумасшествие. Но мне так этого хочется.

Попробую с ней встретиться. В папке есть её адрес. Возможно, она давным-давно переехала, но я хотя бы увижу дом. Вдруг я его вспомню? А если она все ещё там, вдруг я её узнаю?

Мне не следует ехать одной. Надо обсудить это с Мэрион. Но мне не хочется ей говорить. Она решит меня отвезти, а я не хочу ехать с ней. Я должна сделать это сама.

Все так странно. Я ещё никуда не ездила одна. Сбегать на угол дома за газетой, купить хлеба и джема, взять в прокате фильм — вот и все, что мне позволяли делать самостоятельно. Одна я хожу только в школу.

Иногда по субботам мы с Кэти и Ханной выбираемся в магазины или кино. Однажды мы даже были в «Глитси» на вечеринке для старших школьников. (Сплошное разочарование: одна компания девчонок осмеяла Ханну, решившую потанцевать. Другой компании показалось, что Кэти строит глазки их друзьям, и они пригрозили её отколошматить. А вышибала не поверил, что мне четырнадцать — мне было почти четырнадцать, — и велел нам уходить.) Но домой мы возвращались не одни: за нами приехал папа Кэти, который очень встревожился, обнаружив нас всех трех в слезах.

Я не знаю расписания поездов. К счастью, миссис Уильямс живёт в Вестоне, что в паре остановок от нас. Рукой подать.

Вот вам и рукой подать! Вестон — огромный район, а у меня нет карты. Я спрашиваю у прохожих дорогу. Сначала меня отправляют в пригород, затем говорят, что мне, наоборот, нужно к центру. Я иду по зелёным улицам вдоль реки и уже начинаю думать, что провела детство в богатом квартале, но выхожу на авеню с незнакомым названием и понимаю, что забрела не туда. В конце концов я возвращаюсь к станции и сажусь в такси. В рюкзаке пятифунтовая банкнота и горсть монет. Поездка длится несколько минут, но шофёр требует с меня два фунта восемьдесят пенсов. Даю ему три фунта, думая, что этого хватит, но он бросает ехидное замечание насчёт моей щедрости. Я вынуждена извиниться и дать ему пять фунтов, он спрашивает, дать ли мне сдачу, мне хочется ответить «да», но я стесняюсь. Он уезжает, а я стою на дороге, красная как рак, и чувствую себя одураченной.

На заборе сидит девочка с ярко-оранжевыми волосами ёжиком и смотрит на меня. На ней короткая юбка и футболка в обтяжку, открывающая живот. Над пупком крошечная радуга. Наверное, нарисована фломастером, а может быть, настоящая татуировка, хотя девочка с виду ненамного старше меня.

У неё на руках ребёнок — пищущий, мокрый, шевелящийся свёрток. Ребёнок довольно большой, но девочка умело переворачивает его, кладёт на колени и притворяется, будто хочет отшлёпать.

— Денег у тебя явно больше, чем здравого смысла, — говорит она. — Если тебе их некуда девать, можешь подкинуть мне.

Произнося это, она улыбается. Я улыбаюсь в ответ. И смотрю на ребёнка, не решаясь спросить.

— Это мой третий, — говорит девочка. — Двое старших сейчас в яслях.

И хохочет, увидев выражение моего лица.

— Шутка!

— О!

— Сегодня первое апреля, день дураков.

— Точно, — отвечаю я. — И день моего рождения.

— Тогда с днём рождения! Как тебя зовут?

— Угадай.

— Ого! Эйприл?

— Угу. А тебя?

— Таня.

Ребёнок начинает пищать.

— Да-да, передам. Он говорит, что его зовут Рикки.

Ребёнок радостно визжит, услышав своё имя, а затем срыгивает Тане на ногу.

— Фу! — говорит Таня, снимает с него вязаную пинетку и вытирает ногу.

Она смотрит на меня. У неё узкие зеленые глаза.

— Прогуливаешь?

— Нет.

— Кончай врать. Ты же в школьной форме, дурочка.

— Ну ладно. А ты тоже прогуливаешь?

— Я временно не учусь. Социальные работники все ещё решают, как со мной поступить. Только не спрашивай почему. Моё дело и без того занимает несколько шкафов. — Она говорит с гордостью, задрав подбородок. — Ну и зачем ты пришла? Тебе нужна Пэт?

— Я... не знаю, — бормочу я. — Пэт? Патриция... Уильямс?

— Она самая. Тётушка Пэт, любительница детей. А, все ясно. Ты одна из них? — Таня смеётся. — Я схватываю на лету. Только что-то ты непохожа на приютскую. И говоришь не как все.

Я сглатываю. Переехав к Мэрион, я научилась следить за своей речью.

— Люблю пускать пыль в глаза, — говорю я с интонацией приютской девчонки.

Таня смеётся:

— А ты тоже быстро схватываешь, Эйприл. Ну так как — зайдёшь к Пэт?

Внезапно мне становится страшно.

— Уже не знаю, хочу или нет, — бормочу я.

— Да она нормальная тётка, говорит Таня. — Пошли.

Она встаёт и сажает ребёнка на бедро. Берет меня за руку. Я позволяю ей подвести себя к входной двери.

Дверь на защёлке. Таня открывает её ногой. Она обута в босоножки на высоком каблуке. Обои в коридоре исцёрканы карандашом, по ковру разбросаны детали конструктора и машинки. Пахнет свежим хлебом, подгузниками и тальком. Я вдыхаю эту смесь, пытаюсь вспомнить запах.

— Пэт, у нас гости! — кричит Таня и тащит меня по коридору на кухню.

У плиты стоит женщина. У её ног двое малышей играют с кастрюлями. Она именно такая, как я и представляла: мягкая, уютная, розовощёкая; ни грамма косметики, старый свитер, вытянутая юбка, сбитые туфли. Но моё сердце не ёкает. Я её не узнаю. И по её добродушной улыбке понимаю, что она меня тоже не помнит.

— Здравствуй, детка, — говорит она. — Кто ты такая?

— Эйприл, — говорю я. И жду.

— Эйприл, ласково повторяет она. — Чудесное имя. И очень подходит к сегодняшнему дню.

— Поэтому меня так и называли. Вы меня не помните? Я Эйприл, ребёнок со свалки.

Мне трудно это произносить. Глупое, жалкое признание. Я чувствую себя так, будто меня вновь окунули в мусорный бак, полный очисток.

— Это ты о чем, Эйприл? Какая ещё свалка? — спрашивает Таня.

Та, где меня нашли. В день, когда я родилась, — бормочу я.

— А-а-а... Ясно. Уютное местечко. — Танины брови ползут вверх.

— Ах да, конечно. Теперь я вспомнила, — говорит Пэт, встряхивая головой и улыбаясь. — Маленькая, но очень крикливая девочка. Ты плакала ночи напролёт. Я ходила с тобой по комнате взад-вперёд, взад-вперёд, но ты не унималась. Младенческие колики... Они мучили тебя дольше обычного.

— Может быть, она просилась к маме, — говорит Таня. Эйприл, она что, правда выбросила тебя на свалку?

Я киваю, стараясь не зарыдать.

— Н-да, любящая у тебя была мамочка, — цедит Таня. — Чем же ты ей так не приглянулась?

— Таня, уж кто-кто, а ты могла бы понять Эйприл. Нельзя ругать чужих родителей. Кто мы такие, чтобы судить других? — говорит Пэт. — После родов у некоторых женщин мутится рассудок. Они ничего не могут с собой поделать. Они бросают детей там, где родили. В телефонных будках, например. Я знала одного бедного крошку, которого бросили в туалете.

— Надеюсь, ты хорошенько сполоснула его, прежде чем принести домой, — говорит Таня. — Ты слышишь, Рикки? Прекращай мочиться в пелёнки, а не то отправишься напрямиком в унитаз.

— Таня! — всплескивает руками Пэт. — Помешай соус, а я принесу вам обеим попить.

— Мне ром с колой, Пэт. А тебе, Эйприл? — спрашивает Таня.

— Ром с колой? Жаль, у нас как раз кончился ром, — говорит Пэт. — Будешь колу, Эйприл?

— Да, спасибо.

— Где ты живёшь, детка? Твоя семья знает, что ты тут? — Она делает вид, что спрашивает просто так, но на самом деле проверяет, не сбежала ли я. — Ты ведь не ушла из дома без разрешения?

— Что вы, конечно нет! Я ходила к зубному, это рядом, и решила заодно посмотреть, где я когда-то жила.

— Как мило с твоей стороны! Ну конечно, я отлично помню тебя, Эйприл.

Пэт лжёт. Она совершенно меня не помнит. Для неё я — одна из десятков младенцев, чьи голоса слились в сплошной пронзительный плач.

— С кем ты живёшь, а? спрашивает Таня. — Эта твоя мама... Она за тобой вернулась?

— Нет, меня удочерили.

— Хм-м-м... — вздыхает Таня. — Мою младшую сестрёнку тоже удочерили. Маленьким и хорошеньким куда проще.

— Ты с ней видишься?

— Нет. Точнее, да, но редко. Они говорят, сестрёнка после этого плачет. Ещё бы! Она по мне ужасно скучает. А я по ней.

— Мы знаем, как тебе тяжело, Таня, — говорит Пэт, обнимая её за плечи.

Таня стряхивает руку.

— Все хорошо. Не надо меня жалеть. У меня есть Мэнди. Она живёт напротив. Она мне как младшая сестра. Эйприл, у тебя есть сестры? Сводные?

Я качаю головой.

Нас было трое, только трое. Они меня удочерили. Дженет и Дэниел Джонсон. Они дали мне свою фамилию — Джонсон. Они хотели дать мне новое имя — Даниэль, в честь приёмного отца. Но я не отзывалась на это имя, даже не поднимала глаз, как бы они ни старались. Они со смехом рассказывали мне об этом, когда я подросла, но я видела, что им до сих пор слегка обидно.

— Ты была совсем крошкой, и такой покладистой во всем, кроме имени, — говорила мамочка.

— Ты не хотела быть папиной дочкой, — добавлял Дэниел, сильно дёргая меня за косичку.

Совершенно верно. Не хотела. Ни его дочкой, ни её дочкой, если уж на то пошло.

Так ли это? Быть может, я их любила. Дженет мне до сих пор иногда не хватает.

Таня смотрит на меня.

— Идём ко мне в комнату, Эйприл, — предлагает она. — Я только что купила себе потрясные туфли. Сейчас покажу.

— Тебе дали денег на школьную форму, — напоминает Пэт, чересчур усердно размешивая соус. — Уж не думаешь ли ты, что тебе дадут надеть их в школу?

— Ну, раз у меня пока нет школы, что толку тратить деньги на всякую ерунду? — фыркает Таня. — Идём, Эйприл.

Она сажает Рикки на пол, суёт ему в рот соску и тащит меня вверх.

Таня спит в одной комнате с младенцами. Здесь сиреневые обои, кружева, телефон в виде овечки и ночник в виде крошки Бо Пип. Неужели я здесь когда-то спала? Неужели старая кровать в углу была моей?

Таня перехватывает мой взгляд и вздёргивает бровь:

— И не говори! Отвратная комнатка. Ну ничего, вот будет у меня своя квартира, тогда увидишь. Я мечтаю о двухэтажной, переделанной из чердака. Полированное дерево, белые ковры, чёрная мебель — минималистский шик.

— То, что надо, — вежливо говорю я, будто квартира в самом деле существует.

— Ага, — вздыхает Таня. Её глаза встречаются с моими. — Мечтать не вредно!

Я сочувственно смеюсь.

— Может, мне ещё повезёт. Таких, как я, не удочеряют. Слишком поздно. Но ещё пара лет — и глядишь, я встречу богатого мужчину, который подарит мне стильное жильё. Я позову к себе сестрёнку или даже Мэнди из дома напротив. Мы с ней так играем. Воображаем то, чего нет. И не смейся.

— Я тоже воображаю.

— Так что твои новые мама и папа? Те, что тебя удочерили? Что-то подсказывает мне, что вы не стали жить долго и счастливо, — говорит Таня.

— Это точно. Мы уже давно не живём вместе, — говорю я, прислоняясь к кровати.

Я опускаю прутья, чтобы присесть, и подавляю в себе безумное желание съёжиться и забраться в кроватку целиком. Разглаживаю покрывало с паровозиком Томасом.

— Новая мама не отправила тебя на свалку, а? — спрашивает Таня.

— Нет. Она была вполне ничего, — говорю я, загибая складку. Труба паровозика сминается.

— Была? — В Танином голосе звучат новые нотки. Она садится рядом со мной. — Она умерла?

— М-м-м...

— У неё был рак или что-то такое?

— Нет, она...

— Ясно, — тихо произносит Таня. — Моя мама покончила с собой.

Мы обе молчим. С Таней мне не нужно притворяться. Я могу быть откровенной. Но есть вещи, о которых не скажешь вслух.

— А твой папа? — наконец говорит Таня.

— Не напоминай!

— Ясно, — говорит Таня. — И с кем ты теперь живёшь? Ты же не приютская.

— Сейчас нет. А раньше... где я только не жила. Теперь у меня новая опекунша, Мэрион. Она нормальная. Но она мне не мама.

Я умолкаю и вновь разглаживаю покрывало. Паровозик Томас смят в лепёшку.

— Потому ты и пришла к Пэт? — спрашивает Таня.

— Я подумала... Знаю, это глупо, я ведь была совсем маленькой... Но я подумала — вдруг я её вспомню. Какая она, Таня? Она кажется... хорошей.

— Наверное, она действительно хорошая. Ворчливая, конечно, но такие ведь все мамы, правда? Пэт умеет обращаться с детьми. Не злится даже, когда они вопят как полоумные, и не кричит на меня. Но это, наверное, потому, что в конечном счёте ей все равно. Я трудный подросток, которого ей временно навязали. Она делает все, чтобы я чувствовала себя как дома, но, когда я уеду, Пэт не станет скучать.

Думаю, она и по мне не скучала. Я прожила здесь одиннадцать месяцев, но не стала ей родной. Я — лишь одна из множества детей, которых ей пришлось кормить, купать и растить.

— Куда тебя отправят дальше, Таня?

Она пожимает плечами:

— И не спрашивай. Это временный дом, пока мне не подыщут другой. — Она грызёт ноготь и искоса смотрит на меня. — Эта твоя Мэрион... она берет к себе подростков?

— Не думаю. Только меня. Мы были знакомы раньше. Но могу спросить...

— Нет, не надо, мне и здесь неплохо. Я не хочу терять Мэнди. Я говорила, что мы как сестры?

— Может, её маме взять над тобой опеку?

Таня ухмыляется:

— Её мама меня не выносит. Я плохо влияю на её драгоценную крошку.

— Про меня тоже говорили, что я плохо влияю на других.

— Про тебя?! Таня взрывается смехом. — Да ты ангелок с открытки.

Я ухмыляюсь в ответ:

— Я хорошая актриса. Кстати, где обещанные туфли?

— А, точно.

Таня демонстрирует мне пару потрясающих розовых туфель под крокодиловую кожу.

— Ого! Да уж, в таких только в школу, — говорю я, глядя, как Таня вышагивает на каблуках. — Можно примерить?

— Конечно.

Я надеваю туфли и делаю осторожный шаг. Ловлю своё отражение в зеркале и не могу сдержать смех.

— Это нечестно. На тебе они смотрятся отлично, а на мне глупо.

— Да нет, все нормально, только не выпячивай зад. Покачивай бёдрами.

— Нет у меня бёдер, — возражаю я, ковыляя по комнате.

— Попробуй эти, они не такие высокие, — говорит Таня, протягивая мне блестящую синюю пару. — Видишь, они с ремешком, тебе будет легче. Они классно смотрятся с джинсовой мини-юбкой. Примерь. Фирменная. — Она показывает мне ярлык.

— Тебе её Пэт купила?

— Шутишь? Да она понятия не имеет о половине этих вещей.

Я вспоминаю старших ребят из «Солнечного берега» и то, как они пополняли гардероб.

— Ты их украла?

— Нет, конечно, — говорит Таня, а сама подмигивает: — Ну, может быть, вещь-другая случайно завалилась в мою сумку. Что, не одобряешь?

Я усмехаюсь, пытаюсь сохранить хладнокровие. Таня смеётся:

— Эйприл, ты тоже крадёшь вещи?

Я пожимаю плечами. Я не хотела красть. Даже маленькую шоколадку. Даже кусочек картошки с чужой тарелки. Но мне пришлось. Какая разница, ворует Таня или нет. Как говорит Пэт — не нам судить.

Представляю, что сказала бы Мэрион.

Мэрион...

Интересно, что делают учителя, когда ребёнок не появляется на занятиях? Звонят родителям? Да нет, вряд ли. Они даже не заметят, что меня нет. Вот Кэти и Ханна удивятся, сегодня ведь мой день рождения. Они могут позвонить Мэрион на большой перемене.

Мне пора идти.

Но я не уйду. Я остаюсь с Таней и меряю половину её гардероба. На мне её вещи смотрятся дико. Я до сих пор выгляжу как маленькая девочка. Даже Танины короткие топы на мне болтаются. У меня нет груди, и они не хотят сидеть как положено.

— Может, тебе подкраситься? — предлагает Таня.

Я накладываю косметику и собираю волосы в высокий хвост. Несколько прядей обрамляют лицо. Я запикиваю в лифчик скомканные носки, надеваю убийственные розовые босоножки, упираюсь рукой в бедро и смотрю на себя в зеркало.

Я по-прежнему выгляжу как десятилетняя.

— Может, ты ещё не готова к клубным вечеринкам, — говорит Таня.

— Все равно Мэрион меня не отпустит, — говорю я, стирая макияж.

— Ты её слушаешься?

— Когда как. У неё странные понятия. Она не от мира сего. Когда я проколола уши, она просто взбесилась. Зато потом подарила мне на день рождения серёжки, — виновато признаюсь я.

— Ах да, я и забыла, что у тебя день рождения. — Таня копается в косметичке. — Где же этот блеск? Ага! — Она достаёт маленький тюбик. — Держи. Я им почти не пользовалась. С днём рождения!

— Это правда мне? Спасибо!

— Ну конечно, правда. Сейчас я тебя накрашу.

Щеки у меня блестят, я кручусь перед зеркалом в Таниной одежде... А затем я вздыхаю и натягиваю школьную форму.

— Мне пора.

— Брось, оставайся на обед. Пойдём.

Я сажусь за стол с Таней, Пэт и тремя малышами в детских стульчиках. Двое старших сами уплетают кашу, капая себе на колени, а Пэт кормит с ложечки Рикки. Когда-то она кормила и меня. Рот сам собой открывается, как у голодного птенца. Я представляю себе, как она вытирает мой испачканный подбородок, а затем берет на руки, чтобы сменить подгузник и уложить в постель.

«Кап-кап, ням-ням, пора бай-бай», — ворковала она надо мной. Я пускала пузыри, пытаюсь повторить звуки. Именно ей я сказала первое слово, но вряд ли называла мамой.

Пэт учила меня сидеть, укладывала спать, подбрасывала в воздух. Смотрела, как я ползаю на этом ковре, и целовала мои ушибы. Она разрешала мне барабанить по кастрюлям, давала слизывать пенки с варенья, катала меня по саду в коляске и щекотала живот, пока я не заходила от хохота. Она вела себя как моя мама, но стоило мне уехать — и она меня забыла.

Моя настоящая мама тоже меня забыла.

Мамочка меня бы помнила.

Я её никогда не забуду.

После обеда я прощаюсь с Пэт. Она кивает и улыбается, не отрываясь от малыша, испачкавшего волосы тестом. Она не прижимает меня к себе, не целует.

Таня обнимает меня.

— Не пропадай, ребёнок со свалки, — говорит она. — Дай мне номер своего мобильного.

— У меня нет мобильного, вздыхаю я. — Мэрион не разрешает. Она вбила себе в голову, что от них случается рак мозга. Я думала, она подарит мне сотовый на день рождения, но так и не дождалась.

— Ну, вот мой номер, — сочувственно говорит Таня, протягивая мне настоящую визитку, сделанную на компьютере.

Там её имя и рисунок девочки с оранжевыми волосами, а рядом надпись: «Позвони!» Слово написано с ошибками — «Пазвани», но я ни за что ей об этом не скажу.

Она достаёт записную книжку в розовой пушистой обложке и записывает номер Мэрион с пояснением: «Эйпрел, падруга».

Я счастлива, оттого что она считает меня подругой. Мы ещё раз обнимаемся, а затем я ухожу — сама не зная куда.

Впрочем, знаю. Я только не уверена, как туда добраться. Ловить такси мне что-то не хочется. Я иду по направлению к центру и вижу указатель железнодорожной станции. Покупаю билет до Лондона и забиваюсь в угол купе, глядя на тёмные сады за окном. Я думаю о мамочке.

Она меня удочерила. Я помню, как она в первый раз взяла меня на руки. Лаванда. От неё пахло лавандовым тальком, на ней была шелковистая сиреневая блузка.

Конечно же, я все выдумываю. Я не могу этого помнить — мне едва исполнился год. Знаю только то, что мне рассказывали. И все же я закрываю глаза и отчётливо слышу запах талька, чувствую шёлковую ткань блузки. Когда я думаю о ней, мне всегда представляется сиреневое расплывчатое пятно.

Каждый день рождения, каждое Рождество я дарила ей лавандовое мыло и лавандовый тальк. Она всплёскивала руками и восклицала: «Эйприл, дочка, какой неожиданный сюрприз!» — хотя подарок был совершенно предсказуемым. Она сама краем глаза следила, как он помогает мне его купить.

Я звала его папочкой, а её — мамочкой. Они пытались звать меня Даниэль, пробовали разные варианты — Дэнни, Элла, — но когда мне исполнилось полтора года и я начала разговаривать, то на вопрос, как меня зовут, отвечала: Эйприл.

Интересно, правда ли это? Так мне рассказывала мамочка. Возможно, она это выдумала. Много я насочиняла сама и теперь уже не разберусь, где правда, а где вымысел. Сейчас мне кажется, что их вообще не было. И меня — меня тоже не было. Должно быть, потому я и цепляюсь за имя Эйприл. Оно помогает мне оставаться собой.

Мамочке и папочке пришлось смириться, переступить через себя. Им ещё много раз пришлось через себя переступить.

Мамочка не держала меня на руках. Я была маленькой, худенькой, но очень юркой девочкой, и она все время боялась меня уронить. Когда она меня кормила, то пристёгивала к стулу. Когда купала, то сажала в огромный надувной круг. На прогулках мамочка крепко затягивала ремень коляски. На ночь она укладывала меня в кровать с высокими стенками. Она никогда не обнимала меня, не кружила на руках, не укачивала. Иногда, когда я плакала, она брала меня на колени, но я чувствовала, что под шёлковой одеждой она натянута, как струна, и сползала с её колен.

Папочка любил меня тискать, только я не принимала его ласки. Он играл со мной в медведя: вставал на четвереньки и грозно-грозно рычал. Он и в жизни был похож на медведя. Он был весел и добродушен, но стоило его тронуть, он свирепел и становился на дыбы. Я чувствовала, что он способен убить меня одним ударом. У него были тёмные кудри, окладистая борода, волосатая спина и волосатые плечи. Его ноги густо поросли шерстью, из которой торчали белые ступни с пальцами, на которых курчавились волоски. Он гордился этим и разгуливал по пляжу в одних плавках.

Мамочка надевала купальник с юбкой и накидкой на плечи. У меня была очень нежная кожа, и она так густо мазала меня кремом от загара, что я лоснилась, как картофель фри. Она заставляла меня надевать длинные футболки и панамы, сползающие на нос.

Мне не давали мороженого, потому что мамочка считала, что в нем холодные микробы. Хот-доги и гамбургеры были под запретом, потому что в них тоже были микробы, только разогретые. Когда мы заходили в общественный туалет, она держала меня над унитазом на руках, спасая от вездесущих микробов.

Папочка считал иначе. Он покупал мне слоёное мороженое со взбитыми сливками и черешней. Водил в парк аттракционов и катал на колесе обозрения. У меня закружилась голова, и меня стошнило прямо на людей, ехавших в кабинке под нами. Рассказывая об этом, папочка хохотал как безумный. Он называл этот случай «шуткой-тошниловкой». Мамочку от этого передёргивало. Она не выносила грязи и всякий раз, когда мне было плохо, надевала розовые резиновые перчатки, убирала за мной, а затем завязывала грязные перчатки в отдельный пакет и выбрасывала с остальным мусором.

Не думала ли она, что совершила ошибку, решившись меня удочерить? Может быть, втайне она мечтала завязать меня в большой целлофановый мешок и засунуть в мусорный бак, из которого я появилась. А может, я к ней несправедлива. Она редко меня обнимала, но каждый вечер, чмокнув воздух у моей щеки, шептала в темноту: «Я очень люблю тебя, Эйприл. Ты изменила нашу жизнь. С тобой мы счастливы».

Их жизнь не казалась мне счастливой. Мамочка часто вздыхала. Её лицо становилось тоскливым, плечи опускались. Иногда она вздыхала так громко, что стыдливо прикрывала рот рукой, будто страдала от несварения желудка.

Папочка действительно страдал несварением желудка. Он все время икал и рыгал. Мамочка не обращала на эти звуки внимания и приучила меня к тому же. Папочку часто тошнило. Я думала, он болен, но позже, когда подросла, осознала, что это случалось только тогда, когда он задерживался после работы. Дома он почти не пил, но в баре сосал кружку за кружкой. Вот почему от него так странно пахло.

Я не могла понять, почему мамочка переживает. Мне нравилось, что папочки часто нет дома. Я хотела, чтобы она была только моей. Хотела, чтобы она помогала мне наряжать кукол, рисовать человечков, котят и бабочек, плести красные и зеленые бусы, которые я называла рубиновыми и изумрудными. Иногда она пересиливала себя и делала, как я прошу: наряжала Барби в парадное платье, рисовала мне кошку с котятами и нанизывала браслеты. Но порой мамочка просто сидела и вздыхала, а когда наконец раздавался стук в дверь, она так резко вскакивала, что Барби, карандаши и бусины рассыпались по полу.

Однажды папочка не вернулся ни вечером, ни к завтраку. Мамочка не ела, а только пила чай чашку за чашкой, все время помешивая, помешивая, помешивая... Папочка вернулся с работы в обычное время, а в руках у него

был огромный букет роз. Он протянул его мамочке. Она опустила руки, отказываясь принять извинения. Он вынул цветок, зажал его в зубах, обнял мамочку и пустился с ней в танго, волоча её по ковру. Она сперва сопротивлялась, но затем беспомощно рассмеялась. Папочка ухмыльнулся, и роза выпала у него изо рта, теряя лепестки. Мамочка не побежала за пылесосом. Она стояла, обняв его и улыбаясь.

Я сердито смотрела на них.

— Только взгляни на Эйприл! — сказал папочка. — Кто это у нас ревнует?

Он хотел потанцевать со мной, но я отползла в угол комнаты и засосала палец. Я вовсе не ревновала. Мне не хотелось танцевать с папочкой. Я разозлилась, что ему так легко удалось завоевать её улыбку.

Думаю, мамочка его боготворила. Потому-то она и мирилась с его выкрутасами. Когда их вызвали в приют на собеседование, она, должно быть, все больше молчала. Они хотели произвести впечатление идеальной пары. Быть может, в её глазах папочка действительно был идеальным. Вот только детей он дать ей не мог. Из-за этого она и согласилась меня удочерить. Единственная возможность дать ему то, о чем он мечтал. Лапочку-дочку. Крошку Даниэль. Но я не стала играть по её правилам, и у неё ничего не вышло.

Папочка вновь не пришёл ночевать. И ещё раз. И ещё. Он вернулся с букетом цветов. Он вернулся пьяным. Он вернулся в ярости, накричал на мамочку, накинулся на меня, как будто мы были в чем-то виноваты.

А затем он ушёл и не вернулся. Мамочка ждала весь день. И всю ночь. Она позвонила ему на работу. Не знаю, что он ей сказал.

Я нашла её в прихожей, на ковре, у телефона. Её ноги торчали в разные стороны, как у Барби. По её щекам текли слезы. Она не пыталась их смахнуть. Она не высмаркивала нос, из которого текло на губы. Я прижалась к ней, дрожа от страха:

— Мамочка!

Я надеялась, она меня обнимет. Она не шевельнулась, и я обвила её шею руками. Она не заметила.

— Мамочка, скажи что-нибудь!

Она не ответила, хотя я кричала ей в ухо. Я испугалась, что она умерла, но заметила, что она моргает слипшимися от слез ресницами.

— Мамочка, все хорошо. Я с тобой, — сказала я.

Но все было очень плохо.

Ей не было дела до того, где я и что со мной. Да нет, что я говорю — ей было дело. Следующие несколько недель она старалась заботиться обо мне. Она перестала мыться и надевала мешковатые штаны и куртку прямо на ночную рубашку, когда везла меня в детский сад, но не забывала мыть меня и каждый день давала мне чистую блузку. Что-то она помнила, что-то — нет. Она стирала мою форму, но забывала про носки и нижнее бельё. Однажды мне пришлось отправиться в детский сад в её собственных белых трусах, сколотых на талии булавкой. Я битый час возилась с этой булавкой в тёмном

туалете и слегка обмочилась, но никто не заметил. Дома я постирала влажные трусы с мылом. После этого я выстирала все своё бельё и развесила его по краю ванной и раковины. Я не догадалась как следует смыть мыло, бельё стало жёстким и колючим; я чесалась.

Мамочка не могла заставить себя готовить. Сама она почти ничего не ела, только пила бесконечные чашки чая, сначала с молоком, а потом, когда молоко закончилось, чёрного. Я ела кукурузные хлопья прямо из пакета. Я полюбила обеды в детском саду, потому что дома мы ели только консервированную фасоль. Сначала была горячая фасоль с тостами, затем у нас закончился хлеб, и пришлось есть фасоль без всего. Когда мамочка садилась и смотрела в пустоту, я ела холодную фасоль.

Однажды я не сумела докричаться до неё, чтобы она открыла банку. Я попыталась сама, но не смогла и порезалась. Царапина была крошечной, но я перепугалась и завопила. Мамочка разрыдалась и стала передо мной извиняться. Она сказала, что она плохая мать и ужасная жена, так что ничего удивительного, что папочка от нас ушёл. Ему будет лучше без неё, да и мне тоже.

Так она повторяла, громче и громче, и её лицо побагровело от натуги. Я была так напугана, что кивала ей в такт, думая, что она хочет, чтобы я согласилась с ней.

Не хочу вспоминать дальше. Я только расплачусь. Я, Эйприл-плакса, превращусь в Эйприл-прорвавшийся-водопровод.

Что я делаю в этом старом пыльном купе? Мне положено праздновать. Сегодня день моего рождения. Не хочу думать о днях смерти. Странно, не правда ли — каждый год мы переживаем день своей смерти и не знаем, какого числа он настанет. Если, конечно, мы сами его не выберем.

Как выбрала она. Мамочка. Они думают, я ничего не помню, потому что я отказываюсь об этом говорить. Социальным работникам. Психологам. Даже Мэрион. Они считают, в пять лет ничего не понимаешь. Зря. Я помню тот день во всех подробностях. Я подслушала, как социальный работник говорил: мол, я вычеркнула его из памяти. Интересно, как это возможно? Взять ластик и тереть, тереть, тереть память, пока в ней не останется ни следа воспоминаний о самоубийстве, пока она не станет пустой и чистой, как новенькая?

Это было страшно. Мамочка заперлась в ванной и перерезала себе вены. Она не хотела, чтобы я её нашла. Вечером она позвонила соседке и попросила, чтобы та отвела меня в детский сад: мол, ей самой нездоровится. Она хотела как лучше, но я все испортила.

Я проснулась, оттого что мне захотелось в туалет. Ванная оказалась заперта. Я покрутила ручку. Постучала. Позвала:

— Мамочка, ты там? Мамочка!

Её не было в постели. Не было на кухне. Она могла быть только в ванной. Я ничего не заподозрила. Когда мамочка смотрела в пустоту, она не отзывалась. Возможно, она уснула в ванной. По ночам она почти не спала и днём постоянно проваливалась в сон. Я постучала ещё. И ещё. Я испугалась,

что не дотерплю, и поковыляла вниз. Отодвинула защёлку задней двери и вышла в сад. Там стоял деревянный уличный туалет. Я не любила его, потому что в нем жили пауки. Они бегали вокруг моих босых ступнёй, и я едва сдержалась, чтобы не выскочить наружу раньше времени. Я вернулась в сад, не зная, что делать дальше. Задрала голову и увидела, что окно ванной комнаты приоткрыто.

— Мамочка! — позвала я. — Ну, мамочка!

Она не откликнулась. Из окна напротив выглянула миссис Стивенсон. Они с мамочкой ругались из-за того, что сын миссис Стивенсон слушал громкую музыку. Я почла за лучшее улизнуть прочь, как маленький паучок, пока она не принялась меня отчитывать:

— Эйприл! Эйприл, не убегай! Я с тобой разговариваю!

Я подбежала к задней двери, но не смогла её открыть.

— Эйприл!

Я неохотно обернулась. Миссис Стивенсон наполовину высунулась из окна. Ночная рубашка задралась, я видела её розовые ноги.

— Что ты делаешь во дворе в такой час? Где твоя мама?

— Она в ванной, — сказала я и разрыдалась.

Всхлипывая, я бормотала, что дверь заперта. Через мгновение к жене присоединился мистер Стивенсон. Его волосы были взлохмачены, вместо пижамы надета куртка. Мистер Стивенсон был строгим мужчиной, и я испугалась, что он на меня накричит. К моему удивлению, вместо этого они с женой вышли во двор. Мистер Стивенсон принёс садовую лестницу, перелез через забор и подставил её к окну нашей ванной.

Я просила его не лезть туда, потому что представляла, как смутится мамочка, увидев в нашей ванной мистера Стивенсона, но он сказал, что она могла потерять сознание.

А когда мистер Стивенсон вскарабкался по лестнице и заглянул в окно, он сам чуть не лишился чувств.

Он пошатнулся, затем слез вниз, с трудом нащупывая перекладины. Спустившись, он несколько раз глубоко вздохнул, зажав рот рукой. У него на лбу выступили капли пота.

— Джо! Что случилось? — крикнула через забор миссис Стивенсон.

— Что с мамочкой? Что с ней такое? — прошептала я.

Он вздрогнул, будто забыл, что я стою рядом. Казалось, он пережил серьёзное потрясение.

— Где твой папа, Эйприл?

— Не знаю. Я хочу к мамочке!

— Ей... ей слегка нездоровится, — сказал он. — Идём к нам в дом, а я вызову для неё врача.

Мистер Стивенсон взял меня за руку. Его ладонь была влажной, мне не хотелось за неё держаться. Мамочка бы это не одобрила. Но что мне оставалось делать? Я пошла за ним, как он велел.

Он поднял меня на руках и передал через забор миссис Стивенсон. Я засмущалась — на мне была только ночная рубашка, и я боялась, что она

задерётся. Миссис Стивенсон отвела меня в дом. Там пахло вчерашним ужином. Стены были оранжевыми, а кухонные шкафы жёлтыми. Я заморгала от удивления: их дом был зеркальным отражением нашего, таким же — и совершенно иным. Я попала в сон. Все было таким странным, что я поверила, будто сплю. Мне хотелось, чтобы мамочка пришла и разбудила меня.

Но уснула не я, а она. Так сказали взрослые.

Миссис Стивенсон держала меня внутри, а снаружи подъехали «скорая помощь» и полиция. Они так шумели, что могли поднять мёртвого. Но мамочка не очнулась.

Миссис Стивенсон с тревогой смотрела на меня. Она не говорила, что случилось. Она решила отвлечь меня стаканом молока. Я уже давно разлюбила молоко, но не стала ей этого говорить, чтобы не показаться невежливой.

— Пей, деточка, — сказала она, и я начала пить, хотя меня подташнивало от одного только запаха и кислого привкуса.

Я пила и пила, пока не почувствовала, что молоко сейчас пойдёт у меня из ушей.

— Вот умница, на-ка ещё, — сказала миссис Стивенсон, вновь наполняя стакан.

Я все ещё пила, когда вошла женщина в форме. Она присела рядом со мной на корточки.

— Здравствуй, Эйприл, — сказала она.

Её тон был странным. Она не смотрела мне в глаза. Мой желудок сжался, молоко превратилось в масло.

— Я хочу к мамочке, — прошептала я.

Женщина часто-часто заморгала. Она погладила мою руку.

— Мамочка спит, — проговорила она.

Я привыкла к тому, что мамочка все время спит.

— Вы потрясите её, и она проснётся.

— Боюсь, мамочка сейчас не проснётся, — сказала женщина. — Она будет спать долго-долго.

— Но она в ванной! Она легла спать прямо там?

Её вынули из ванной, уложили в мешок и увезли. Когда я вернулась в дом, от неё не осталось и следа. Женщина в форме помогла мне собрать чемодан и сказала, что отвезёт меня к доброй тёте, которая за мной присмотрит. Должно быть, она имела в виду кого-то вроде тёти Пэт.

Но кто-то догадался позвонить папочке на работу, и он примчался домой.

— Где моя маленькая Эйприл?

Он ворвался в комнату, подхватил меня на руки и прижал к себе — крепко-крепко. Слишком крепко.

Все выпитое молоко оказалось у него на костюме.

Удивляюсь, как папочка не сбежал от меня в ту же минуту, как переменял костюм. Вместо этого он забрал меня в свою новую квартиру. Чьей она была — его или её, Сильвии? Есть такая дурацкая песенка: «Кто

такая Сильвия и где она живёт?» Папочка постоянно её напевал. Я отлично знала, кто такая Сильвия. Его новая подруга. Злая ведьма, укравшая его у мамочки.

Может быть, я к ней несправедлива. Я не знала, где они познакомились и когда начали встречаться. Зато я знала, что, если бы не Сильвия, папочка остался бы с мамочкой и ей не пришлось бы вскрывать себе вены.

Разумеется, мне её не показали. Никто не говорил о том, что произошло, но я ловила обрывки шёпота. Я представляла себе мамочку с бритвой в руках, бледное тело в алой воде. Это была их вина — папочки и Сильвии.

Когда он уехал на похороны, меня оставили с Сильвией. Я ещё не знала, что такое похороны, и не просилась с ним. Папочка купил мне новую Барби, большой набор карандашей, цветную бумагу и книжки с картинками, но я к ним даже не притронулась. Я попросила ножницы и взялась за журнал. Сильвия была помешана на моде, и я аккуратно, высунув от усердия кончик языка, вырезала из её журналов длинноногих, худых моделей. Я старательно обводила ножницами их костлявые запястья и острые колени, то и дело случайно лишая девушек рук и ног.

Сильвия принесла мне старый альбом и тюбик клея, но я не хотела сажать моделей на бумагу. Мне хотелось, чтобы они остались свободными. В журнале их звали Наоми, Кейт, Элль и Наташа, но теперь они стали моими, и я дала им новые имена: Роза, Фиалка, Нарцисса и Колокольчик. Я смягчилась, взяла карандаши и разрисовала их модные черно-белые наряды ярко-красными, лиловыми, жёлтыми и синими цветами под стать именам.

— Очень в стиле «Вог», — раздражённо сказала Сильвия.

Большую часть дня она молчала. Она приготовила мне обед, а затем просто наблюдала за мной из своего угла. Должно быть, не забыла, как ей пришлось отстирывать костюм. Но, видя, что бутерброд с арахисовым маслом и газировка не лезут из меня наружу, она успокоилась и включила телевизор. А затем, ближе к вечеру, вернулся папочка.

— Как выглядела мамочка? — спросила я.

Папочка нахмурился, не зная, что сказать. Я не хотела его смутить. Я не понимала, что мамочка мертва и лежит под слоем земли. Мне сказали, что она спит, что она не вернётся домой, но когда-нибудь я встречу с ней в раю. Мамочка часто читала мне сказки, и я представляла себе, что она спит в замке, окружённом шипами, далеко-далеко, в месте, которое называется Рай.

Папочка не ответил.

Он подолгу шептался с Сильвией. Иногда они ссорились и переходили на крик. За этим следовало страстное примирение, и я заставляла их друг у друга в объятиях. Я старалась делать вид, что ничего не замечаю. Я крепче стискивала бумажных девушек и мысленно играла с ними во взрослых, представляя, как мы танцуем в клубе — я, Роза, Фиалка, Нарцисса и Колокольчик.

Я не могла танцевать круглыми сутками. По ночам, когда мне было положено спать, я плакала. Я рыдала днём в туалете, а затем вытирала лицо жёсткой бумагой и высмаркивала нос, чтобы никто не заметил.

Воспитатели ходили вокруг меня на цыпочках. Детей, наверное, предупредили, чтобы они не заговаривали со мной о маме. На всякий случай они вовсе перестали со мной разговаривать — даже Бетси, моя лучшая подруга. Она вела себя так, будто самоубийство заразно. Мы по-прежнему сидели за одной партой, но она отодвигалась от меня на самый край и, стоило прозвенеть звонку, убегала подальше, чтобы не играть со мной. Она нашла себе другую подругу — Шармен. Они ходили по двору под ручку и делились секретами. Я попыталась отвоевать Бетси назад, подарив ей свою новую Барби, но она сказала, что куклы для малышей. Я прекрасно помнила, что у неё дома целая куча Барби. Когда-то я приходила к ней на чай, и мы в них играли.

Я больше не могла пригласить её к себе, потому что у меня не было дома.

А затем он у меня появился. Мы вернулись в наш старый дом — вместе с Сильвией.

— Это мамочкин дом! — сказала я. — Она не пустит Сильвию.

— Не глупи, Эйприл. Мамочка нас покинула. Это мой дом, и я буду в нем жить. Вместе с Сильвией. Она будет твоей новой мамочкой.

Я отказалась наотрез. Сильвии это тоже не понравилось.

— Ненавижу этот дом. Я постоянно ловлю на себе осуждающие взгляды! — кричала она. — Я не стану здесь жить. Не стану заботиться о твоей ненормальной дочери. Я хочу весёлой жизни! Я уйду.

И она ушла. Какое-то время мы с папочкой жили вдвоём. Он не знал, что со мной делать. Он попросил миссис Стивенсон водить меня в детский сад и присматривать за мной, пока он на работе. Миссис Стивенсон ясно дала понять, что согласна сидеть со мной лишь изредка, в виде исключения. Я умоляла папочку попросить маму Бетси, надеясь помириться с лучшей подругой, но она тоже отказалась брать на себя ответственность.

— Ты можешь вести себя хорошо? — спросил папочка.

Я старалась вести себя хорошо: папочка был очень, очень раздражительным, и я стала тихой, как мышка. Я мысленно говорила с Розой, Фиалкой, Нарциссой и Колокольчиком. Мы играли весь день и танцевали ночи напролёт. Мы были самостоятельными. Мы не нуждались в мамах и папах.

Папочка нанял пожилую даму, чтобы та за мной присматривала. Она заявила в наш дом и по-хозяйски заняла место перед телевизором. Я не могла вынести того, что она сидит в мамочкином кресле, погрузив огромный зад в её лавандовые подушки. Я свернулась в кресле и отказалась вставать. Она больно шлёпнула меня пониже спины. Я её лягнула. Она от нас ушла.

Тогда папочка нанял молоденькую студентку Дженнифер. Она была полной, розовощёкой и доброй. Она показала мне, как наклеить бумажных девочек на картон, чтобы они не порвались. Я полюбила Дженнифер. К несчастью, папочка тоже её полюбил. Она явно умела клеить не только картонные фигурки. Дженнифер переехала к нам. Она заняла не только мамочкин стул. Она заняла её кровать.

Теперь меня не пускали в спальню. Я слонялась по коридору, чувствуя себя одинокой и несчастной. Роза, Фиалка, Колокольчик и Нарцисса не смогли меня утешить.

Я пошла в ванную комнату и уставилась на квадрат, где когда-то была ванна. Папочка поставил на её место душевую кабинку, потому что Сильвии было страшно в ней мыться. Ещё одна перемена. Я хотела, чтобы ванна вновь оказалась на месте. Мне хотелось забраться в неё и представить, что я лежу рядом с мамочкой. Я бы насильно открыла ей глаза, и она бы больше никогда не уснула.

Как же мне было плохо без неё!

Я прошептала её имя. Я шептала все громче и громче, пока не начала кричать. Папочка и Дженнифер барабанили в дверь. Мне казалось, я задвинула щеколду, но папочка навалился всем телом, и дверь распахнулась. Он вцепился пальцами мне в плечи, оторвал меня от пола и затряс. Моя голова моталась из стороны в сторону, ванная плыла, как на американских горках.

— Прекрати орать!!! — закричал он на весь дом.

Я не могла прекратить, так я была напугана. Я не слушала просьбы Дженнифер. Я не слушала просьбы миссис Стивенсон, которая прибежала, решив, что меня убивают. Пришлось вызвать врача, который вколол мне лекарство. Он сказал, что теперь я усну, и от этих слов я развопилась ещё громче.

Врач сказал, что я страдаю от «нервного потрясения». Вообще-то ничего удивительного. Он добавил, что мне нужна любовь и забота.

Думаю, папочка пытался доказать мне свою любовь. День или два.

— Не грусти, Эйприл. Папочка с тобой. Папочка тебя любит. Ну же, улыбнись. Хочешь, я тебя пощечочу? Ха-ха-ха! — Он тыкал жёстким пальцем мне в подмышку или шею, пока я не кривила губы в некоем подобии улыбки.

Но чаще он просто не обращал на меня внимания. У меня разладились дела в детском саду. Воспитательница спрашивала папочку, высыпаюсь ли я по ночам. Уж что-что, а спит она как убитая, отвечал он. Я не успевала вовремя проснуться и добежать до туалета. На заднем дворе постоянно сушились мои простыни. Папочка злился и говорил, что я веду себя как младенец. Дженнифер заступалась: это не моя вина, у меня просто слабые нервы, я в мать.

— Она ей не мать, — сказал папочка.

Что ж, он не был мне отцом, и я просто счастлива, что в моих жилах нет ни капли его крови. Он тоже был этому рад. Со смерти мамочки не прошло и нескольких месяцев, а ему уже надоело со мной возиться, и он сдал меня социальным работникам. В приют.

Вот теперь до меня точно никому не было дела.

Интересно, мамочка бы тоже во мне разочаровалась? Сколько я ни стараюсь, не могу вспомнить её лица. Лишь тепло, лёгкий запах лаванды да печальный вздох.

И все же мне надо её увидеть. Я знаю, где её найти.

Кладбище Гринвуд. Так говорится в моем деле. Я представляла себе зелёный лес, сказочное кладбище в готическом стиле, высокие тисы, плющ и мраморных ангелов. Гринвуд оказался районом в предместье Лондона. К кладбищу ведёт длинное шоссе. Я подхожу к воротам и ищу кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Никого нет.

Мне не по душе, что здесь так пусто. Мне тревожно одной. Мне хочется убежать на станцию, но бросать начатое слишком поздно.

Я могла бы попросить Мэрион...

Нет. Я уже здесь. Все в порядке. Я достаточно взрослая. Я не верю в призраков, несмотря на то что прошлое не прекращает меня преследовать.

Я бреду куда глаза глядят. Вижу ангелов с отломанными крыльями и отбитыми головами. Глажу каменные ноги, поросшие мхом, провожу ладонью по мраморным одеяниям, беру за руку крошечного безносого херувима. Мне страшно, оттого что эти могилы никто не навещает. Хулиганы разбили статуи бейсбольными битами, желая посмеяться. Мне хочется плакать, хотя я знаю, что люди под этими плитами давно обратились в прах. Сотню лет назад или даже больше. Mamочка должна быть в другой стороне.

Я иду по тропинке и уже боюсь заблудиться. Под ногами хрустит гравий. Время от времени я останавливаюсь: мне слышатся чужие шаги. Я оглядываюсь по сторонам. Деревья шелестят свежей листвой, качаются ветви. Здесь может прятаться кто угодно. Вандалы с дубинками, бродяги, бездомные...

Глупо. Здесь никого нет. Мне слышится эхо собственных шагов. Я глубоко вздыхаю и иду мимо могил Викторианской эпохи в богатую часть кладбища, где много памятников, надгробий и мавзолеев. Кто-то может проследить свою семейную историю далеко в прошлое, притронуться пальцами к золочёным буквам на могиле прапрабабушки. Моя прапрабабушка с одинаковым успехом могла быть дамой в шёлковом кринолине и побирешкой в лохмотьях. Мне никогда этого не узнать.

Я поспешно иду к строгим рядам свежих могил, на которых лежат венки. Я хожу среди них, мечтая, чтобы их можно было расположить по алфавиту. А может быть, у мамочки нет даже надгробного камня? Захотел ли папочка тратиться? Да и что бы он велел высечь? «Спящая красавица»? «Любимая жена Дэниела, почти что мать Эйприл»?

Я брожу по дорожкам. Глаза слезятся от ветра. Мне её не найти. Но мне и не нужно видеть её могилу. Лучше я буду думать, как в детстве: Белоснежка, спящая в зеленом лесу, нарисованном моей фантазией...

Вот она! Дженет Джонсон. Яркие золотые буквы на чёрном камне — слишком пёстро и кричаще. Фотография в рамке в виде сердца. Я подхожу ближе, силясь унять дрожь.

Это не она.

Как это может быть не она?

Наверное, это другая Дженет Джонсон. Не такое уж редкое имя. Но даты рождения и смерти совпадают. Значит, это она.

Она совсем молоденькая. В волосах замысловатый бант. Нет, глупышка, это же фата. Свадебный снимок. Очень показательно, папочка! Ты считаешь, что день, когда она вышла за тебя замуж, стал самым счастливым в её жизни. А может, так и было. Мамочка сияет. Так всегда говорят о невестах, но её лицо в самом деле озаряет внутренний свет, глаза блестят, рот приоткрылся, улыбка ослепительна.

Я её такой не застала. Её свет погас. Бедная мамочка.

Почему же я её толком не помню? Интересно, она меня хоть немного любила? Не так, как папочку, а нежно, по-матерински. Или я так и осталась для неё ребёнком со свалки, который не принёс им счастья?

Я плачу. Лезу в рюкзак за платком.

— Что случилось, крошка?

Я замираю на месте.

Между могил идёт мужчина. Его волосы всклокочены, одежда перепачкана, в руке бутылка. Я оборачиваюсь. Кроме нас, ни души. Только он и я. А ворота остались далеко, далеко позади.

Я разворачиваюсь и иду прочь.

— Эй! Не уходи! Я просто хочу помочь. Дать платок?

Он вытаскивает из кармана штанов засаленный лоскут и машет им.

Может, он и правда хочет мне добра? Непохоже. Я мотаю головой и испуганно улыбаюсь:

— Спасибо, не надо. Мне пора идти. До свидания.

— Пстой! Давай поговорим. Что ревьешь, а? Может, выпьешь? Тебе сразу полегчает.

— Нет. Не нужно.

— Ради бога. Мне больше достанется. — Он поднимает бутылку и пьёт.

Я ухожу, а мужчина, прихрамывая, идёт за мной.

— Что, кто-то умер?

— Да. Моя... мама, а мой отец — он там, ждёт меня. — Я машу рукой в сторону могил. — До свидания, мне надо бежать.

И я бегу. Не думаю, что он мне поверил. Он окликает меня, но я не останавливаюсь. Я слышу за спиной его шаги. Сжимаю кулаки и бегу так быстро, как только могу. Рюкзак колотится о спину. Я несусь, мчусь, спотыкаясь о дёрн, петляя, как заяц, среди могил, уже не понимая, в какой стороне ворота. Мужчина вот-вот догонит меня, достанет своими костлявыми руками — но впереди уже виднеется арка. Почти спасена! Я выбегаю на шоссе, где мчатся машины.

Прислоняюсь к каменной стене и пытаюсь отдышаться. Я готовлюсь позвать на помощь, если из-за надгробий появится его силуэт. Но незнакомец исчез. Отчаялся меня догнать и остался на кладбище. Моё сердце бьётся ровнее. Я возвращаюсь на станцию. Я все ещё дрожу, мне страшно, но я чувствую себя в относительной безопасности.

Я не знаю, сообщать в полицию или нет. Он мне ничего не сделал. Возможно, он искренне желал мне добра, но я ещё не сошла с ума, чтобы проверять. Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Мне было неприятно слышать от него слово «крошка».

Я думаю о маме, не о мамочке, лежащей под чёрной блестящей плитой, нет — о моей настоящей маме. Может быть, её изнасиловал пьяный незнакомец, и поэтому она не могла на меня смотреть?

Я не понимаю, куда бреду. Мимо проносятся машины, сбивая меня с толку. Я оглядываюсь: вдруг он меня все ещё преследует? Я не знаю, что я тут делаю. Все как во сне. Все кажется нереальным.

Впрочем, к этому ощущению я давно привыкла.

Мамочка умерла, папочка от меня отказался. Я утратила чувство реальности. Я чувствовала себя хрупкой бумажной куклой, как Нарцисса, Колокольчик, Роза и Фиалка. У меня быстро сменились две опекуны, одна за другой. Об этом я узнала из досье.

Первая была вроде тёти Пэт — она брала детей на короткий срок. Я смутно помню свой шестой день рождения, который мы справляли в её доме. Я не притронулась к белоснежным розам с праздничного торта — они были такие красивые. Но у меня забрали тарелку, прежде чем я успела их спрятать.

Затем меня взяли Морин и Питер. Друзья звали их Большая Мо и Маленький Пит. Интересно, мы тоже их так называли? Не думаю. Наверное, для нас они были мамой и папой. Нас, приёмшей, у них было много. Кто-то оставался в доме на несколько дней, кто-то жил здесь годами. Были дети, которых они взяли навсегда.

Я спросила Большую Мо, могу ли я остаться насовсем.

— Возможно, сладенькая, — сказала она, а затем её внимание переключилось на старших мальчиков, которые затеяли драку, и младшего, который запутался в занавеске.

Так было всегда. Мы не успевали поговорить. У неё не было времени даже меня обнять. Впрочем, не сказать, чтобы мне этого хотелось. Большая Мо была славной, добродушной женщиной, но она мне не нравилась. Она казалась мне огромной — сейчас я думаю, что она была чуть выше среднего роста, но надо мной, маленькой и худенькой, она возвышалась, как необъятная башня. Нет, как скала: крутые утёсы живота, груди и бёдер. Она носила широкие цветастые платья, ярко-красные зимой и розовые летом. Не надевала колготок даже в самую холодную погоду, поэтому её ноги постоянно были красно-розовыми. Когда она садилась на потрёпанный диван, под платьем мелькали широченные панталоны. Мы не могли удержаться от смеха, когда она доставала эти панталоны из стиральной машины. Но Большая Мо не обижалась. Если у неё было хорошее настроение, она ещё и взмахивала ими в воздухе, как парусами, и тогда мы складывались от хохота пополам.

Маленький Пит был обычного, среднего роста, но рядом с Мо он казался ребёнком. Он зачастую вёл себя как мальчишка: встав на четвереньки, помогал младшим лепить куличики, чинил со старшими велосипеды и

увлечённо болтал с ними о футболе. Однажды он одолжил у них скутер, упал и вывихнул запястье. Большая Мо очень рассердилась, узнав, что он целую неделю не сможет помогать ей по хозяйству. Маленький Пит радостно подмигивал мальчишкам, и они отвечали ему довольными ухмылками.

Я не вписывалась в их семью. Они привыкли к озорным мальчишкам, а мамочка воспитала меня скромницей. На моем платье не было ни единого пятнышка. Большая Мо купила мне комбинезон с мишкой на кармане.

— Держи, сладенькая, можешь носиться и пачкать его сколько хочешь, сказала она.

Но я не хотела пачкать комбинезон. Я сидела в углу, скрестив ноги, наклонив голову, и говорила с вышитым мишкой. Я представляла себе, что это живой медвежонок по имени Крошка. Колокольчик, Нарцисса, Фиалка и Роза по очереди ухаживали за ним, кормили мёдом, расчёсывали шубку и водили на прогулку на серебряном поводке.

— Эта Эйприл ненормальная! Она разговаривает сама с собой. Бормочет и бормочет себе под нос. Вот чокнутая! — говорили мальчишки.

Иногда, играя в футбол, они нарочно на меня налетали. Однажды они опрокинули меня в грязь. Бумажные девушки высыпались из кармана. По Нарциссе прошёлся грубый ботинок, оставив след на жёлтом платье, а Роза лишилась ноги и до конца своих дней была вынуждена жить с нарисованным протезом.

Когда я пыталась общаться с мальчишками, они начинали меня дразнить. Я не знала, что люди из разных кварталов говорят по-разному. Я чувствовала, что отличаюсь от них. Наверное, я говорила, как мамочка. Тогда я этого не понимала, но мои чопорные манеры здорово их раздражали. Однажды я назвала Большую Мо мамочкой, и они взвыли от хохота. Меня дразнили несколько дней подряд, называя ломакой и кривлякой.

В доме жила ещё одна девочка. Она подражала мальчишкам, но не со зла. Эсме подражала всем и каждому. Она была старше меня, совсем взрослая, но во многих вещах так и осталась ребёнком. Она страдала болезнью Дауна. В шесть лет я уже умела читать, но Эсме никак не могла научиться. Иногда я читала ей вслух. Иногда я сочиняла для неё собственные истории о цветочных девушках и их приключениях. Эсме слушала как замороженная. Она спрашивала, откуда я беру эти истории, не понимая, как они могут рождаться в моей собственной голове.

— Они берутся отсюда, — объясняла я.

— Покажи! — говорила Эсме, убирала волосы от уха и смотрела на мою голову, словно надеялась заглянуть внутрь.

Ей нравились мои длинные волосы. Она неуклюже расчёсывала их своими толстыми пальцами, как редким гребнем. Её собственные волосы были коротко острижены. Они висели сосульками по обеим сторонам её плоского лица. Интересно, она понимала, что некрасива? Когда Большая Мо не слышала, мальчишки дразнили Эсме обидными прозвищами, но она не принимала их слова близко к сердцу.

Мы часто играли вдвоём. Я стала подражать Эсме, копируя её речь: простые, короткие предложения. Я начала говорить так и в школе. Учительница вызвала Большую Мо к себе.

Вероятно, они беспокоились обо мне и моем окружении, не знаю — только через несколько недель Мо и Пит привели в дом новую девочку.

— Её зовут Перл. Она на несколько лет старше тебя и кажется чудесной девочкой, несмотря на все, что ей пришлось пережить. Ей, бедняжке, тоже досталось. Уверена, вы подружитесь, — сказала Большая Мо.

— У меня уже есть подруга, — пробормотала я, но они не принимали Эсме всерьёз, а о Нарциссе, Фиалке, Колокольчике и хромой Розе даже не догадывались.

Теперь моей подругой считалась Перл. У неё были чёрные волосы, огромные голубые глаза и жемчужные зубы, крупные и ровные, будто предназначенные для того, чтобы кусать. Она кусала меня, но, когда Большая Мо заметила на моей руке фиолетовые следы, я сказала, что сделала это сама. Я чувствовала, что, стоит мне пожаловаться на Перл, она устроит ещё не такое, когда мы останемся одни.

Вспоминая о ней, я до сих пор дрожу. Перл была куда страшнее кладбищенского пьяницы.

По субботам Большая Мо возила нас с Эсме и Перл в город. Однажды мы ходили в кино на «Красавицу и чудовище». Эсме очень понравился говорящий чайник. Она вскрикивала от восторга всякий раз, когда он появлялся на экране. Мне было не до смеха. Я с трудом удерживалась от слез — в темноте Перл выкручивала мне пальцы и плевала в мороженое. Большая Мо была уверена, что мы держимся за руки и едим один рожок на двоих. Все считали, что мы с Перл лучшие друзья.

Я думала, что получу передышку в школе, потому что Перл была на два года старше меня. Оказалось, она сильно отстала и даже не умела читать, поэтому её отправили к младшим. В мой класс. Меня отсадили от прежнего соседа. Я оказалась рядом с Перл, потому что мы были «чудесными подругами».

На переменах я пыталась от неё удрать, но она бегала быстрее и все время догоняла. Она со всей силой била меня книгой:

— Учи меня читать, Эйприл. Давай не отлынивай, или я на тебя настучу.

Мне приходилось садиться рядом с ней и по буквам разбирать сказки о Пышке и её мишке. Перл следила за моим пальцем, но произносила не то, что было написано. Она не умела читать книги, но отлично читала в моей душе.

— Жила-была глупая вонючка Эйприл, и никто её не любил, даже собственные мама и папа. Они бросили её в помойку... ха-ха!.. а вы как думали? А потом приходит жирная тётка и говорит: «Эйприл, сладенькая, не плачь. Перл будет твоей подругой». Как думаете, будет Перл дружить с Эйприл? — Она говорила это так, как будто действительно читала в книжке. Больно толкала меня локтем: — Эй, тупица, оглохла? Я тебе подруга? Подруга? А?

— Нет! Да! Не знаю, — беспомощно произносила я.

— Сама не знаешь, чего хочешь. Ну да ладно, я тебе помогу. Кто мне не друг, тот мне смертельный враг.

В школе было плохо, а дома — ещё хуже. Каждый вечер, когда приближалось время купания, мне становилось дурно. Нас было так много и всем надо было мыться, что Большая Мо решила купать нас вместе.

Я пыталась спрятаться, но ничего не вышло.

— Вот ты где! — сказала Большая Мо, вытащила меня из-под кровати и слегка встряхнула: — Сладенькая, ты ведёшь себя как мальчишка. Они тоже не любят мыться. Ты же не хочешь прослыть замарашкой? Беги скорее. Перл уже в ванной. Пускает мыльные пузыри, благослови её Бог.

Я просила, чтобы она разрешила мне мыться с Эсме.

— Нет, сладенькая. Эсме у нас совсем взрослая девушка. Ей положено мыться одной. Давай-ка, запрыгивай к Перл.

Большая Мо удерживала меня железной хваткой. Внезапно она прищурилась:

— Ну-ка, что случилось? Слегка поцапались с Перл, а?

Я помотала головой. «Слегка поцапались» — значит поссорились. Я не осмеливалась ссориться с Перл.

Мне пришлось мыться вместе с ней. Пока рядом была Большая Мо, Перл вела себя спокойно, только щипалась под слоем пены и царапала мне ноги. Но как только Мо выходила, чтобы принести с кухни свежие полотенца, Перл затевала свою любимую игру в русалок.

— Что делают русалки, Эйприл? — шептала она, придвигаясь ближе ко мне и сверкая зубами.

На бледных руках блестела мыльная пена. Мокрые тёмные волосы облепляли голову, и она становилась похожа на голландскую фарфоровую куклу.

— Я с тобой говорю, Эйприл. Слышишь? У тебя что, уши отвалились? — Она откидывала мне волосы и засовывала палец в ухо так, что в нем начинало звенеть.

— Не знаю... Не знаю, что делают русалки, — пробормотала я, услышав эти слова в первый раз.

— Ну ты и тупица! Смотри, мокрая, жалкая курица, у русалок длинные рыбы хвосты, и они умеют — что?

Я сглотнула и стала потихоньку отодвигаться от неё, пока не упёрлась спиной в край ванны.

— Отвечай! Ты что, язык проглотила, а? — Её пальцы царапали мою нижнюю губу, и мне пришлось открыть рот. — Нет, вот он, гадость какая! Ну давай, поработай им. Скажи мне, зачем русалкам хвосты?

— Чтобы плавать, — прошептала я.

— Ура! Наконец-то дошло! Правильно — чтобы плавать!

Она схватила меня за щиколотки и резко дёрнула. Я сползла вниз, моя голова ушла под воду. Я хотела вырваться, но Перл навалилась на меня и не давала всплыть. Я слабо пыталась отпихнуть её ногой, но не понимала, где

она. В голове шумело, в ушах бурлила вода. Я понимала, что она пытается меня утопить, и в глубине души помимо страха и отчаяния ощущала торжество — вот теперь ей достанется. Но внезапно она схватила меня под мышки и вытолкнула на поверхность. Я глотнула воздуха и зарыдала, кашляя водой.

— Заткнись, дура, — как ни в чем не бывало сказала Перл. — Думаешь, ты русалка? Ты совсем не умеешь плавать. Будем тренироваться. — И она вновь утащила меня под воду.

Она не всегда меня топила. Часто нас мыла Большая Мо, но, даже когда её не было рядом, Перл могла вести себя как обычная девчонка, плескаться и болтать глупости. От этого было даже хуже: я каждый миг ждала, что она слетит с катушек.

Но однажды слетела я.

Я попыталась убить Перл.

Не нарочно.

Не знаю. Я уже не знаю, как было на самом деле. Помню то, что мне говорили. Меня спрашивали, как это случилось, и мне приходилось рассказывать вновь и вновь. Меня уговаривали успокоиться и подумать, но я не могла. Я забралась в жёсткий панцирь. Чтобы вытащить меня оттуда, понадобились бы клещи.

Наверное, я выглядела виноватой. Все считали, что я нарочно её толкнула. Может, так оно и было.

Перл пролетела по воздуху, размахивая руками, отчаянно вопя, разевая рот так, что виднелись все её белоснежные зубы. Я думала, она приземлится на ноги и ринется вверх по лестнице, чтобы прикончить меня. Но она с грохотом упала на спину и осталась лежать. Её нога была вывернута в сторону. Я думала, она заплачет, но она не проронила ни звука. Я стояла наверху лестницы и смотрела на неё. Большая Мо, Маленький Пит, Эсме, мальчишки — все сбежались на крик. Поднялся шум и гам. Пит звонил в больницу, а Мо села рядом с Перл на корточки, взяла её за руку и принялась что-то говорить. Перл не отвечала. Глаза у неё были приоткрыты, но она смотрела в пустоту.

— Она померла! — сказал кто-то из мальчишек.

— Нет, она жива, — неуверенно произнесла Большая Мо. — Что случилось? Перл поскользнулась?

Все взгляды обратились ко мне.

— Это Эйприл её толкнула!

— Конечно, она её не толкала! Скажи, Эйприл!

Я молчала. Я не осмеливалась говорить. Боялась, что Перл умерла, и радовалась, что она не сможет на меня наябедничать.

Приехали врачи. Перл привязали к носилкам, погрузили в белый фургон и увезли. Большая Мо поехала с ней. Её не было всю ночь, но к завтраку она вернулась. Одна.

— Она все-таки померла! — сказал кто-то из мальчишек.

Все смотрели на меня, разинув рты. Хлопья застряли у меня в горле.

— Эйприл — убийца!

Они все это повторили, даже Эсме, хотя она наверняка не поняла смысла этого слова.

— Прекратите нести чушь! — велела Большая Мо. У неё под глазами были тёмные круги, волосы слиплись. — Перл жива, но ей очень плохо. У неё вывихнуты запястья, сломано бедро, нога и несколько рёбер. Бедняжка проведёт в больнице несколько недель.

Я пискнула от облегчения.

— Эйприл, нам надо поговорить, — мрачно сказала Большая Мо.

Она взяла меня повыше запястья, будто ей неприятно было держать мою ладонь, и отвела в свою комнату.

Нам запрещалось туда заходить. Мы выдумывали, будто Большая Мо и Маленький Пит прячут там телевизор размером с экран кинотеатра, кожаные диваны и белые ковры. Но телевизор оказался меньше, чем наш, общий, диван был обит старой тряпкой, похожей на платье Мо, а ковров не было вовсе — только тусклый желтоватый ковролин. Я смотрела на него все время, пока слушала Мо. А она не спешила умолкнуть.

— Перл мне все рассказала, Эйприл, — произнесла она.

Я опустила голову.

— Поздно чувствовать себя виноватой! — сказала Мо. — Ты все-таки столкнула её, да?

Я обречённо кивнула.

— Нарочно! — твёрдо сказала Мо.

Я была вынуждена согласиться.

— Она могла умереть, продолжала Мо. — Мальчики правы, ты могла её убить. Я должна бы пойти в полицию, но...

Я молчала. Моё сердце отчаянно билось.

— Но я не хочу скандала. Я воспитываю детей вот уже двадцать лет и ни разу не видела ничего подобного. Я брала к себе самых разных сорванцов. Они могут наставить друг другу синяков и шишек, но никогда ни один из них не пытался убить другого. Перл сказала, что ты набросилась на неё просто так, ни с того ни с сего!

У меня были причины её толкнуть. Перл была убийцей, четырежды убийцей. Она порвала Розу, Колокольчик, Нарциссу и Фиалку на мелкие клочки.

Я была очень осторожной и никогда их ей не показывала. Я мысленно говорила с ними, когда она была рядом, следя за тем, чтобы мои губы не двигались. Но я не сошла с ума, чтобы носить их при себе. Осторожности ради я постоянно их перепрятывала. Сначала они жили в коробке из-под обуви, затем переехали в чехол для губки, потом поселились между страниц книги «Дикие штучки».

Они до сих пор были бы со мной, но Эсме меня выдала. Давным-давно, до знакомства с Перл, мы вместе играли с ними, и она их не забыла.

Мы с Эсме и Перл сидели в детской. Эсме листала журнал Большой Мо, слюнявя палец и с треском переворачивая страницы.

— Прекрати, Эсме! Ты меня бесишь. Что ты его листаешь? Ты все равно не умеешь читать.

— Умею. Я умею читать. Правда, Эйприл? — всполошилась Эсме.

Ты отлично читаешь, Эсме, — согласилась я.

— Чушь собачья. Она не может читать. Она тупая и жирная, как боров, — сказала Перл.

— Неправда, я тонкая. Тонкая, как тростинка, — сказала Эсме, втягивая толстый живот и выпрямляясь, подражая моделям.

Перл передразнила её, но Эсме не обиделась.

— Как эти леди, — сказала она, тыча пальцем в картинку. Внезапно она задумалась. — Нарцисса! — сказала она. — Смотри, Эйприл, Нарцисса!

Она была права. С картинки смотрела та же самая модель, только в купальнике и с другой причёской. У Эсме был острый глаз, раз она её узнала.

— Нарцисса? — переспросила Перл. — О чем это вы, идиотки?

— Нарцисса — это бумажная кукла Эйприл, — пояснила Эсме. — У неё их много — одна, две, три, четыре.

— Эсме, замолчи!

Но было поздно. Перл все поняла. Она нашла их, пускай не сразу. Я перепрятала девушек в шерстяной носок, но у Перл был нюх, как у ищейки.

После чая я пошла к себе в спальню и увидела, что ящик с бельём слегка приоткрыт. Я раскидала вещи и нашла носок — пустой. Второй носок лежал на самом дне. Внутри были крошечные кусочки картона все, что осталось от девушек. Я высыпала их на ковёр, надеясь склеить или пририсовать недостающие части, как когда-то ногу Розы. Но Перл постаралась на славу. Она искрошила их в конфетти.

Я пыталась воскресить их у себя в памяти, но Перл удалось искромсать мои мечты. Я не могла их оживить. Нарцисса, Роза, Фиалка и Колокольчик остались кучкой нарезанной бумаги.

Я заплакала.

— Что такое, Эйприл? — спросила Перл, заглядывая в комнату. Её зубы сверкали. — Хнычешь, солнышко? Маленькой Эйприл хочется играть с бумажными куколками? Была охота рыдать над обрезками картона! Ты большая тупица, чем наша Эсме. Пойми, детка, это всего лишь мусор!

Она схватила горсть конфетти и швырнула мне в лицо. Жёлтые, красные, сиреневые и синие кусочки бумаги порхнули вокруг и осели на волосах.

Я чувствовала себя так, будто меня превратили в мелкое крошево. Мне хотелось к мамочке, к папочке, но их больше не было. Я осталась одна. Я стала никем.

Перл покрутила розовый кусочек, оставшийся от новой ноги Розы, которую я так усердно рисовала. Перл засмеялась и щёлкнула пальцами, будто смахивая прилипшую грязь. Я не сдержалась. Я ринулась на неё. Перл поняла, что шутки кончились. Она пыталась убежать, но я догнала её на лестнице. Я с силой толкнула её в грудь, она пошатнулась и упала, скатилась по ступеням вниз.

— Ты сделала это нарочно, Эйприл? — повторила Большая Мо. — Без всякой на то причины?

Я кивнула. Я действительно толкнула её, а что до причины... Причину Большая Мо никогда не смогла бы понять.

Я никому об этом не рассказывала, даже Мэрион.

Может, Мэрион меня бы и поняла. Она странная. Без конца ворчит, если я начинаю грубить или забываю застелить постель, будто это делает меня худшей девочкой в мире. Но, узнав о моем прошлом, она нисколько не испугалась. Она взяла меня к себе. Она всячески показывает, что доверяет мне, — оставляет сумку на виду, не запирает драгоценности, хотя ей прекрасно известно, чем я занималась в «Солнечном берегу».

Меня отослали туда, потому что Большая Мо решила, будто я представляю угрозу для других детей. «Солнечный берег» был особым приютом, свалкой для трудных сирот. У этих сирот был жёсткий характер, особенно у старших. Джина, Венеция и Райанна заправляли местной шайкой. Верховодила Джина — самая старшая и самая сильная. Её боялись все, даже некоторые работники приюта. Но меня она приняла с распростёртыми объятиями.

Мне пора домой. Поезд подъезжает к станции. Если мне повезёт, я успею домой раньше Мэрион — у неё как раз заканчивается смена в книжном магазине. Она поверит, что я была в школе.

Утром я её здорово обидела. Пусть Мэрион начала первой — почему она не подарила мне мобильный? — но она искренне старалась сделать мне приятное этими серёжками. Я могу извиниться, надеть их и покрутиться перед Мэрион. Серёжки мне идут. Она, наверное, купит праздничный торт. Накануне мы вместе рассматривали торты у «Марка и Спенсера». Я позвоню Кэти и Ханне и приглашу их на чай. Только надо будет заставить их поклясться, что они не расскажут, как я прогуляла школу.

Я не знаю, что им сказать. Могу соврать, что было лень идти на занятия, но они не поймут. Они считают меня правильной девочкой. Они ни за что бы не поверили, если бы я рассказала, чем занималась, живя в приюте «Солнечный берег».

Этот приют не был похож на остальные. Представьте себе огромный дом в тюдорианском стиле с большим садом. На воротах висело железное солнце с расходящимися лучами. Я раскачивалась на этих воротах и гладила, гладила лучи. Однажды я прищемила палец, а Джина поцеловала распухшее место и подарила мне целый пакет «Смартиз».

Я была любимицей Джины. Ей нравилось, когда я вела себя как маленькая, и я нарочно картавила и сосала палец. Тем летом стояла жара, и Джина соорудила для меня бассейн из пластмассовой ванны. Мы загорали на солнце часами. Её тёмная кожа стала оттенка красного дерева. Она мазала мои тонкие плечи, руки и ноги лосьоном, в точности как мамочка.

Ночью она тоже была рядом со мной. Они умыкали меня из постели — не каждый раз, а в дежурство Билли или Лулу. Что тот, что другая спали как убитые. Шайка Джины выходила на охоту. На вылазки ходили не только мы,

но и старшие ребята, только каждый шёл своей дорогой. Джина занималась грабежами. Для того чтобы проникнуть в дом, им нужна была маленькая, худенькая девочка — то есть я.

Многие люди оставляют окно ванной комнаты открытым. Джина подсаживала меня на водосточную трубу, а дальше я карабкалась сама. Цеплялась рукой за форточку, просовывала голову, протискивалась по поясу, упиралась руками в подоконник с другой стороны и осторожно приземлялась в раковину.

В самый первый раз мне показалось, что я застряла. Голова уже была в чужом доме, а тело и ноги болтались снаружи. Я задрожала и закусил губу, чтобы не проронить ни звука. Отчаянно рванулась и полетела головой вперёд, ударившись о холодный фаянс так, что чуть не лишилась сознания.

Со временем я наловчилась, но так и не стала испытывать от грабежей удовольствия. Временами я так боялась попасться, что пачкала трусы. Я кралась по незнакомым коридорам в полной темноте, нащупывала перила, вздрагивала от каждого скрипа половицы, прислушивалась к храпу за дверями спален и постоянно оглядывалась через плечо, опасаясь увидеть хозяина, приготовившегося схватить меня и сдать полиции.

Я спускалась на первый этаж и открывала заднюю дверь, где стояла Джина. Иногда к нам ради смеха присоединялись Райанна и Венеция. Они искренне веселились, а я — нет. Я ненавидела наши вылазки даже тогда, когда все шло как по маслу. Но чаще случалось что-нибудь непредвиденное. Однажды я не смогла справиться с замками и задвижками на двери. Джина нетерпеливо подсказывала мне с той стороны, что делать. А затем я услышала звук шагов на верхнем этаже и шарканье шлёпанцев на лестнице. Я отчаянно замахала Джине через окно кухни. Она показала на переднюю дверь, но шаги приближались, меня бы непременно схватили. Я замотала головой, и Джина исчезла.

Я подумала, что она решила меня бросить, и заплакала. Внезапно она появилась вновь. В руке у неё был ботинок. Она разбила окно, схватила меня и вытащила наружу. Когда хозяин прибежал на звон, мы уже прыгали через забор. В моих волосах запутались осколки стекла, руки кровоточили — я содрала их о дверную задвижку, — но мы сумели выкрутиться. На этот раз. Я со страхом думала, что за этим разом последует новый, а затем ещё и ещё.

Я не просто боялась попасться. Я с ужасом думала о том, что качусь напрямик в ад, как все воры. Мамочка воспитала меня так, что кража виноградинки с лотка казалась мне смертным грехом. Когда она обнаружила мой проступок, то отчитала так, что ночью я не могла спать, боялась, что черти заберут меня прямо во сне. Я стала расхитительницей винограда, и всю оставшуюся жизнь мне следовало расплачиваться за этот поступок.

А затем я чуть не убила Перл, и меня поместили в интернат для трудных детей. Я стала такой же, как они.

Думаю, у меня не было выбора. С Джиной нельзя было спорить. На Джину нельзя было пожаловаться. Да и жаловаться, в общем-то, было некому. Воспитатели постоянно менялись. Приехала новая сотрудница,

поругалась с Венецией, Венеция ударила её по лицу. Та дала ей ответную пощёчину и уехала, пробыв у нас всего час — своеобразный рекорд даже для нашего приюта.

Билли продержался дольше всех, но он боялся Джину и её шайку. Он боялся всех, даже меня. Я научилась смотреть ему в глаза, расширяя зрачки так, что они едва не лопались. Он отводил взгляд. Он читал моё дело. Должно быть, он думал, что я выбрала его своей новой жертвой.

Лулу была доброй и по-своему заботливой, но очень рассеянной. Она кивала и смотрела на тебя, но все время думала о Бобе, своём парне, который приходил к ней по ночам и оседал перед телевизором. Они носили одинаковые футболки. На одной было написано: «Я люблю Боба», на второй — «Я люблю Лулу». Когда его не было рядом, Лулу казалась отрешённой, словно настроенной на его невидимую волну.

Я стала тихоней. Я молчала в приюте и в школе. Я устала заводить новых друзей и осталась одна. На переменах я пряталась в туалете. На уроках не говорила ни слова. Гораздо удобнее, когда тебя считают тупицей, неспособной ответить на простейший вопрос. Более того, я чувствовала себя тупицей. Я жила как в тумане, потому что не успевала выспаться. Джине, Венеции и Райанне было проще. Они ходили в школу пешком и могли прогуливать, а меня возили в приютском автобусе. На обеих его сторонах было изображено по солнцу и написано: «Приют „Солнечный берег“». Кто-то подписал краской из баллончика: «Для слабоумных». Я чувствовала себя замаранной этой алой краской.

Раз в неделю меня водили к странной даме, в кабинете которой было множество игрушек. Я думала, она учительница и ведёт дополнительные занятия, но теперь я понимаю, что она была кем-то вроде психиатра. В приюте хотели выяснить, кто я — злостная преступница или слабоумная дурочка, как считали мои одноклассники.

Я не знала, что хуже. Я считала себя злостной преступницей. Мне часто снилась Перл, и каждый раз я заново сталкивала её с лестницы. Теперь я стала ещё и воровкой. Вместе с Джинной я ночь за ночью грабила дома. Соседи начали что-то подозревать. Приезжала полиция, задавала вопросы. Я чуть не намочила штаны, увидев людей в форме, но Джина вела себя как ни в чем не бывало. На все вопросы пожимала плечами и удивлённо хмыкала. Венеция и Райанна тоже держались уверенно.

Парни пытались строить из себя крутых, щетинились и обещали подать в суд за оскорбление личности. Джина скромно усмехалась, зная, что подозрение падает именно на них.

На меня никто даже не подумал. Мне не стали задавать вопросов.

Во время визитов в кабинет психиатра я ни о чем таком не рассказывала. Я послушно играла со странными куклами, у которых были чересчур натуральные ягодицы. Я навела порядок в кукольном домике и посадила куклу-маму в ванну. Я заперла куклу-папу в шкафу. Повертела в руках куклу-дочку. В домике не было мусорного бака.

Я нарисовала бак фломастерами, но женщина так пристально смотрела на меня, что я испугалась. Быстро исправила бак на вазу и наполнила её разноцветными цветами. Красными, жёлтыми, сиреневыми и синими. Затем я, к её удивлению, разрыдалась.

Когда я вернулась в приют, Джина заметила в моих глазах слезы. Я рассказала ей о Розе, Нарциссе, Фиалке и Колокольчике, о том, как я по ним скучаю. Она решила, что я совсем глупая, раз плачу над кусочками бумаги, которые не стоят и пенни. Но я плакала и плакала, опустив голову.

— Эйприл, не кукситься! — велела она.

Я попробовала перестать грустить, но ничего не вышло.

— Я тебя развеселю, вот увидишь, — пообещала Джина.

В субботу она отправилась в город без меня. Когда она вернулась, в руках у неё были Барби. Она протянула их мне.

— Смотри, настоящие куклы! — с гордостью произнесла Джина. — Они куда лучше бумажных, а?

У кукол были острые пальцы, острые груди и острые колени. Втайне от всех я все ещё оплакивала своих бумажных подружек, но эти Барби были поистине роскошными. Я не могла играть с ними при всех — Билли и Лулу непременно спросили бы, откуда у меня такое богатство, — поэтому я забиралась с ними в шкаф, оставляя узкую щёлку, и начинала фантазировать. Я выдумывала, будто это наш дом, где живу я, Барби-Энн, Барби-Бет, Барби-Крис и Барби-Денис, будто мы делаем друг другу причёски, меняемся одеждой и поверяем все тайны.

Иногда Джина забиралась ко мне в шкаф, и мы играли вместе. Джина была крупной девочкой, и в шкафу становилось тесновато. Она не умела обращаться с куклами бережно, растягивала и рвала их одежду, но я не могла её прогнать.

Однажды меня застукали — и не Венеция или Райанна, а вечно печальная Клэр. У неё были длинные ломкие волосы, и с ней никто не дружил. Она была ненамного старше меня, училась в начальной школе, но выглядела взрослой. Она и вела себя как взрослая — крутилась вокруг парней и позволяла им делать все, что они захотят.

Клэр пыталась подружиться со мной, но Джина дала понять, что не допустит этого. Время от времени Клэр забредала ко мне в комнату и однажды застала меня играющей с Барби. Она просительно смотрела на меня, но я не осмелилась позволить ей войти — не хотела сердить Джину.

На следующий день Барби пропали. Исчезли из обувной коробки, где я устроила им спальню. Их не оказалось в карманах комбинезона и резиновых сапогах — я перетряхнула весь шкаф. Они не сбежали на цыпочках в бельевой ящик и не завернулись в мои майки. Они не смотрели на меня из рукавов платья, не забрались в пенал. Их не было нигде, сколько бы я ни искала.

Я знала, что Джина будет в бешенстве. Она набросилась не на меня, а на Клэр, хотя я ни словом не обмолвилась, что она видела Барби. Клэр клялась, что не понимает, чего от неё хотят, даже тогда, когда Джина принялась

таскать её за волосы. Я поверила ей и попросила Джину прекратить, но было поздно. Она швырнула свою жертву об стену и принялась обыскивать её комнату, раскидывая одежду и ломая вещи. Я заплакала, но Джина поняла меня по-своему.

— Не плачь, Эйприл. Я найду твоих Барби, — сказала она.

Джина сорвала покрывало, отшвырнула подушки и взялась за матрац. Клэр взвизгнула, и Джина сбросила его с кровати. Под матрацем лежали мои Барби, завёрнутые в белую папиросную бумагу, будто в саван.

— Я так и знала, что это ты их взяла, воровка! — рявкнула Джина. — Ты ещё у меня пожалеешь.

И Клэр пришлось ещё не раз об этом пожалеть, хоть я и умоляла Джину остановиться?

Джина сама была воровкой. Она наверняка украла кукол в магазине. Но это была иная кража. Она взяла их для меня. Такое воровство в нашем приюте считалось само собой разумеющимся. Как ещё отстоять себя, своё право на жизнь?

Сейчас я считаю любое воровство преступлением. Мне не хочется вспоминать о прошлом. Почему же я сажусь в этот поезд? Зачем я еду в «Солнечный берег»? Джина давно там не живёт. Ей уже лет двадцать — двадцать два. Не представляю её взрослой женщиной. Интересно, чем она занимается? Возможно, сидит в тюрьме.

Я довольно долго ищу приют. Мне уже начинает казаться, что я его выдумала. Но нет — вот он. Вот ворота с железным солнцем. Я глажу его лучи и смотрю на белый особняк с жёлтой дверью. Я ничего не чувствую. Будто играю роль. Обычные ворота. Обычный дом. Быть может, приют перенесли в другое место.

Кого я обманываю? В пыльной траве валяются игрушки, у порога раскиданы велосипеды и скейтборды. За воротами стоит старый автобус. Интересно, за рулём до сих пор сидит Билли?

Я не хочу видеть ни его, ни Лулу, даже если они все ещё здесь работают. Я приехала к Джине.

Покидая «Солнечный берег», я плакала. Нас с Джинной все-таки схватили. Когда мы вернулись с ночной вылазки, оказалось, что нас поджидают Билли и Лулу. Клэр! Клэр донесла на нас. Мы не сумели выкрутиться. В куртке Джинны обнаружили несколько компакт-дисков, триста фунтов наличными и золотые украшения, завёрнутые в носовой платок.

Меня отправили в другой приют. Джину оставили в «Солнечном берегу», уж не знаю почему. Быть может, она была слишком взрослой или слишком испорченной, так они решили. Мне сказали, что новый приют — это новая возможность начать все заново.

Я не хотела уезжать, но меня никто не слушал. Это самое страшное. Приютским не оставляют выбора. Хочешь или нет, будешь делать то, что велят.

Мне казалось, меня выгнали из «Солнечного берега», потому что отчаялись со мной справиться. Я провела там ещё неделю. Мне запрещали общаться с Джинной. Ночные грабежи прекратились. На дверь повесили новый замок, а ко всем входам и выходам подвели сигнализацию. Лулу было велено вставать посреди ночи и проверять, все ли дети лежат в кроватях.

Я дождалась, пока она закончит обход. Затем вылезла из кровати и побежала искать Джину. Я забралась к ней в постель. Она обняла меня и назвала своей маленькой. Я заплакала, и Джина, думаю, тоже, потому что её щека стала мокрой. Я прижалась к ней и просидела так до рассвета.

Больше я её не видела. Однажды я получила от неё письмо. Джина не любила писать и просто нарисовала картинку, а сверху красивыми витиеватыми буквами вывела своё имя и исцеловала рисунок помадой.

На протяжении года я писала ей каждую неделю, хотя давным-давно отчаялась получить ответ.

Я напишу ей ещё раз. В приюте наверняка знают её адрес. Я открываю калитку и иду по дорожке. Смотрю на дверь и дважды стучу.

На пороге появляется блондинка в комбинезоне. Вокруг её талии повязано полотенце. В волосах бесчисленное множество заколок. Лулу, помнится, заплетала дурацкие косички. Люди, работающие с детьми, часто одеваются, как дети.

— Скажите, здесь все ещё работает Лулу? — спрашиваю я.

Блондинка качает головой, заколки трясутся.

— Кажется, когда-то здесь действительно работала Лулу, но я с ней не была знакома.

— А Билли?

Вновь трясутся заколки.

— Ты хочешь их найти?

— Не совсем их. Я ищу одну девушку, Джину...

— Ах, Джину! — говорит она.

— Вы её знаете?

— Все знают Джину. — Женщина улыбается.

— Неужели она все ещё живёт здесь?

— Нет, но она часто нас навещает. У неё замечательные лекции.

— Джина читает лекции?

— Она ездит по всем приютам нашего округа и разговаривает с детьми. Она творит чудеса. Дети ей доверяют, потому что она знает, каково им пришлось. А что же ты? — Она с подозрением смотрит на мою форму. — Ты тоже здесь жила?

— Некоторое время. Я дружила с Джинной. Только это, наверное, не та Джина.

— Джина может быть только одна! Она живёт совсем рядом. Видишь многоэтажные дома? Её квартира на верхнем этаже самого южного здания, номер сто сорок четыре. Навести её. Она будет рада.

Я иду к многоэтажкам. Мне кажется, это бессмысленно. Моя Джина не такая. Она не читает лекции. Моя Джина разбиралась только в кражах со взломом.

Зря я все это затеяла. Что это за район? На сегодня мне хватило неприятных встреч. Я рассеянно бреду к зданиям. За моей спиной внезапно возникает мальчишка на скейте. Я отпрыгиваю в сторону. Он радостно скалится и катит прочь.

Я веду себя как ребёнок. Дома не такие уж страшные. Некоторые квартиры явно выкуплены: на окнах красивые занавески и горшки с цветами, двери балконов выкрашены яркой краской. Затем я замечаю выгоревший мусорный бак и непристойные надписи на стенах. Я нажимаю кнопку лифта, жду, как мне кажется, целую вечность и осторожно захожу внутрь, стараясь не наступить в лужу.

Мне нужно на верхний этаж, но на полпути лифт останавливается, и в него заходят двое бритоголовых мужчин. Я сглатываю и прижимаюсь к стене. Слава богу, они ведут себя так, будто меня здесь нет. Я робко разглядываю их проколотые брови, думая о том, что сказала бы Мэрион, зайдись я домой в таком виде. Один из мужчин ловит мой взгляд и показывает мне язык. Тоже проколотый. Я ошарашенно смеюсь и вылетаю из лифта, едва он останавливается на четырнадцатом этаже.

Мне кажется, будто я оказалась на вершине мира. Подо мной простирается город. Я хватаюсь за перила, чтобы не упасть. Прохожу по балкону и оказываюсь перед сто сорок четвёртой квартирой. Стучу в дверь — так тихо, что она вряд ли услышит. Все равно она не может быть моей Джинной.

На пороге стоит молодая босоногая женщина в джинсах и свободной голубой майке. У неё на руках очаровательный кудрявый малыш. Она смотрит на меня, склонив голову набок.

Это не Джина.

— Простите, — бормочу я, — я искала...

Или все-таки Джина? Высокая, широкоплечая, темнокожая — и совершенно иная. Она взрослая, стильная и привлекательная. Её пышные длинные волосы аккуратно уложены в косички и заплетены бусами. У неё проколот нос, в ушах серебряные полумесяцы серёжек, на пухлых руках звенят браслеты. Она смотрит не раздражённо, а, наоборот, приветливо. Внезапно её улыбка расплывается до ушей.

— Эйприл! — восклицает она. — Малышка Эйприл!

Она крепко меня обнимает, не отпуская ребёнка. Я вдыхаю её знакомый запах — запах пудры и мускуса.

— И все-таки это ты, Джина! — говорю я и внезапно начинаю рыдать.

— Да, это определённо ты, Эйприл, — смеётся Джина. — Ты всегда была плаксой. И моей любимой малышкой, помнишь? Кстати, что скажешь о моем настоящем малыше?

Она гордо показывает мне младенца, щекочет его и целует. Ребёнок хохочет и пытается вывернуться.

— Чудесная девочка.

— Это мальчик! Мой маленький Бенджамин. Не смущайся, все думают, что он девочка, такой он хорошенький. И из-за кудряшек, конечно, тоже. Все твердят, что его пора подстричь, а мне кажется, верх безумия — состригать такие кудри, правда, мой сладкий?

Бенджамин смеётся и трясёт головой. Кудряшки подпрыгивают.

— У тебя чудесные волосы, — подтверждаю я, шмыгая носом.

— А тебе, как всегда, нужен платок! Заходи, Эйприл. Вот здорово! Просто не верится. Сколько тебе уже? Одиннадцать? Двенадцать?

— Четырнадцать. Сегодня исполнилось.

— Ого! Ну так с днём рождения!

Она обнимает меня свободной рукой и заводит внутрь. Коридор оклеен обоями, зелёными, как вода в бассейне. По стенам скачут дельфины. Гостиная фиолетовая, с красными шторами, красными бархатными подушками и огромной плюшевой пандой в красном кресле-качалке. Я иду за Джиной на кухню. Здесь все ярко-жёлтое, такое ослепительное, что хочется надеть очки. Джина даёт мне салфетку, сажает Бенджамин на высокий стул и ставит чайник.

— Классная у тебя квартира, — застенчиво хвалю я, сморкаясь.

— Ага, здорово вышло. Я попросила ребят из «Солнечного берега» помочь мне раскрасить стены. — Она ставит на стол оранжевые кружки. — Ты там уже была?

— Да. Я искала тебя.

— Эйприл, сейчас я сама расплачусь. — Джина вновь меня обнимает. Затем смеётся: — Ты небось удивилась, узнав, какая Джина стала правильная и важная? Помнишь наши ночные вылазки? Ты была такой крохой, а уже отличным домушником! Карабкалась по трубе, как обезьянка, вжик — и уже внутри.

Ты нашла мне замену?

— Нет. С тобой никто не мог сравниться. Да и расхотелось мне воровать. Я очень скучала, детка.

— Ты не писала.

— Я писала!

— Ты прислала рисунок.

— Ну, я никогда не любила писать от руки, а компьютера у мальчишек было не допроситься. Да и не хотелось мне писать. Я не очень-то хорошо жила. Натворила кучу дел, о которых жалею. Не подумав, родила ребёнка...

— Бенджамин?

— Нет. Тот ребёнок был давно. Я сама была ещё ребёнком.

Чайник кипит. Я чувствую, как кипят мои собственные мысли.

— Что с ним сейчас? — спрашиваю я. — Ты его бросила?

По её щеке ползёт слеза.

— У меня её отобрали. Я была плохой матерью.

— Ты чудесная мать Бенджамину.

— С Эми я была другой. Я любила её, любила до безумия, но в то время я сидела на этой дряни и сама себя не осознавала. Мне сняли квартиру, помогли устроиться, но я даже за собой не могла следить, не говоря о ребёнке. Она часто болела. Я тоже болела. Я воровала. Однажды я попалась. Меня отправили в исправительную колонию, а Эми забрали в приют.

— О Джина! — Теперь я её обнимаю.

— Нет, не стоит меня жалеть. Я это заслужила. Я сама виновата. Я все погубила.

— Как же они её у тебя забрали, если ты её так любила? Она была твоей дочкой. Почему тебе не разрешили её оставить?

— В колонии? Наверное, я не слишком сопротивлялась. Я чувствовала, что со мной у неё не лучшая жизнь. Не такая у неё должна быть мама. Я не хотела, чтобы её спихивали с рук на руки, из приюта в приют, как когда-то меня. Я позволила её удочерить. У неё замечательная семья. — Джина улыбается сквозь слезы. — Не смотри на меня так, Эйприл. Я хотела как лучше. Она счастлива, я знаю. И я счастлива. Когда её у меня забрали, я буквально сходила с ума. Но потом вышла на свободу, и у меня мозги встали на место. Я бросила все свои глупости — и вот какая я стала! Мне нужно сдать кое-какие экзамены. Это трудно, сама знаешь, как мне тяжело писать, но я стараюсь. Я буду социальным работником. И не таким, как эти старые курицы. Я сумею справиться с сорванцами, если они не будут меня слушать. Но в отличие от других, я знаю, что у них за жизнь. Меня они не обманут. Я все попробовала, через все прошла. Сейчас я разговариваю с ними, рассказываю, как это было. Есть крепкие орешки, кого не разубедишь, но младшие меня уважают.

— И я тебя уважаю, Джина.

Я краснею от того, как неуклюже это звучит.

— Надеюсь! — говорит она и наливает нам чаю, а Бенджамину — молока. Она улыбается. — Эйприл, что положено имениннице?

Я хлопаю глазами.

— Торт!

Джина достаёт из шкафа большую коробку. Она открывает её, и я вижу розовый пирог, украшенный горошинами «Смартиз», которыми выложено: «С днём рождения!»

— Я так и знала, что ты сегодня придёшь!

Я смотрю на неё, разинув рот. Джина смеётся.

— Шучу, глупенькая. Я испекла его для одного из соседских мальчишек. Я тут главный организатор детских праздников. Бенджамину очень нравится — все хотят с ним играть. Когда у кого-нибудь из ребят день рождения, я пеку пирог.

Я вспоминаю Мэрион. Должно быть, она уже купила праздничный торт у «Марка и Спенсера» и выложила его на любимое хрустальное блюдо. Она не понимает, почему я до сих пор не вернулась из школы. Она вот-вот начнёт волноваться.

Если бы у меня был мобильный, я бы ей позвонила. Сама виновата.

Какая чушь! Что за чушь я несу!

И все время, болтая с Джинной, уплетая пирог и угощая Бенджамина кусочками глазури, я думаю о Мэрион.

Я могу попросить Джину дать мне позвонить. Мне очень этого хочется. Но я не могу. Мэрион захочет узнать, где я. Если она поймёт, что я прогуляла школу, то здорово разозлится.

Я могу соврать, что сижу в гостях у Кэти или Ханны. Но тогда она придет меня забрать. Как все сложно!

Не буду ей звонить, просто поеду домой прямо сейчас, извинюсь и постараюсь с ней помириться.

— Джина, мне пора. Моя приёмная мама будет волноваться.

— Ты хорошая девочка, Эйприл, — говорит Джина.

Я плохая. Я очень плохая.

На прощание Джина крепко прижимает меня к себе. Я обнимаю её, мечтая стать маленькой, как Бенджамин, чтобы она носила меня на руках.

— Только не пропадай, малышка, — говорит Джина. — Напиши мне. В этот раз я отвечу как полагается, обещаю.

Я еду в вонючем лифте, пытаюсь сдержать слезы. Выхожу на улицу, смотрю вверх и вижу на балконе Джину. Она крепко держит Бенджамина и не может махнуть мне рукой. Вместо этого они оба кивают мне головами, будто два тёмных цветка, качающихся на ветру.

Джина — замечательная мама.

А моя мама — дали ли ей возможность начать все с нуля?

Надо ехать домой.

Я сажусь в метро и еду на вокзал Ватерлоо. Как-нибудь выкручусь. Я выкручивалась сотни раз.

У этой сказки печальный конец. Я её так и не нашла.

Какие глупости! Я нашла двух подруг старую и новую. Я увидела свою первую приёмную мать и могилу той, которую звала мамочкой. Сегодня я встретила много людей, но по-прежнему чувствую себя потерянной. Более одинокой, чем когда бы то ни было. Мне нужна только она.

Как мне её найти? Она может быть где угодно. Все равно что искать иголку в стоге сена. Чайнку в мусорном баке.

Ребёнок со свалки.

Осталось последнее место.

У меня есть билет. Я могу поехать туда с вокзала.

Или вернуться домой, к Мэрион.

Я не умею принимать решения. Когда я начала жить с Мэрион, мне было трудно выбрать даже сорт чая. В приюте «Сказка» тебя никто не спрашивает. Будь добр, ешь то, что дали, горячую фасоль или омлет, плюх — и шлёпнули на тарелку. По пятницам полагалось угощение — булочки с глазурью: розовые с вареньем, белые с ягодами или жёлтые с вишенкой. Я так медленно ела, что булочки успевали разобратъ. А пока не съешь обед, сладкого не будет. Таковы правила. Иногда я просила толстушку Джули доестъ за меня. Она ловко ворочала вилкой то в своей, то в моей тарелке. Но

затем она сдружилась с девочкой, страдавшей анорексией и платившей ей двадцать пенсов за съеденный обед. Джули стала выручать не меня, а её.

Мне не нужно погружаться в прошлое, чтобы вспомнить «Сказку». Я прожила там пять лет — дольше, чем где бы то ни было. Я проводила там все каникулы, кроме одного тоскливого лета, когда меня отправили в лагерь для детей, отстающих в развитии. Там я не занималась, а помогала воспитателям заниматься с другими.

Этим летом мы с Мэрион собираемся в путешествие. Она везёт меня в Италию. Пять дней на то, чтобы осмотреть статуи, церкви и музеи, и пять дней на берегу моря — ради меня.

— Иначе нечестно. Отдых такой же твой, как и мой, — сказала она.

Она справедливая, только слишком упёртая. Уже поздно. Что будет, если она позвонит Кэти или Ханне и они расскажут, что меня не было в школе? Если бы я сейчас была у Кэти или Ханны! С ними я чувствую себя такой, как все. Мы смеёмся, жалуемся на учителей, мечтаем о парнях и обсуждаем свои причёски и фигуры. Мы выдумываем будущее, которое нас ждёт, но не говорим о прошлом и о том, откуда мы родом.

Они — подруги, о каких я мечтала всю жизнь. В «Сказке» у меня были подруги — замкнутые девочки, отсталые девочки, хулиганки... такие, как я. Потому-то нас и собрали вместе. «Сказка» — интернат для проблемных детей: отпетых воровок, умственно неполноценных, нервнобольных. Нам одели в одинаковые бело-синие платья и синие блейзеры. Нам раздали одинаковых плюшевых медведей в вязаных свитерах, чтобы мы могли брать их в постель.

Днём нас разбивали на маленькие группки, чтобы уделить каждой особое внимание. Я не хотела внимания. Я хотела сидеть в своей раковине, надёжно защищённая от беды. В интернате учились девочки с синдромом Дауна, такие же, как Эсме в доме Большой Мо. Я подружилась с одной из них, Поппи. Она училась в моем классе и очень любила леденцы. Поппи каждый день покупала их в школьной лавке сладостей.

— Леденчики! — радостно ворковала она вновь и вновь.

Она выговаривала это слово так забавно, что я смеялась вместе с ней.

Я хотела сидеть с Поппи и рисовать её карандашами. У неё были картинки на все буквы алфавита. Хорошо было бы тихо, никого не трогая, раскрашивать буквы: «А — арбуз, Б — банан, В — вишня». Но мне приходилось читать, считать и ставить опыты. Я не умела ни складывать цифры, ни клеить модели, поэтому учёба давалась мне с трудом. Я считала себя умственно отсталой и не понимала, что многое пропустила из-за постоянной смены школ, и мне трудно сразу догнать остальных.

В «Сказке» отстающих быстро подтягивали. Через полгода я ощутила, будто мне надели очки с сильными линзами. Все стало чётким и ясным. Мне не нравилось это чувство. Я предпочитала жить в мире фантазий. У меня не осталось времени мечтать. Нужно было думать, соображать, давать ответы.

Математика, физика и химия остались для меня дремучим лесом, зато я полюбила уроки английского и в особенности истории. Мисс Бин не давала

нам скучать. Она была старше прочих учителей и выглядела довольно комично в своих пастельных свитерах, то небесно-голубых, то младенчески розовых, то сиреневых. Мы звали её Крошкой Бин — разумеется, не в лицо.

Мисс Бин никто не осмеливался прекословить. Она была с нами строже прочих учителей. Она вечно меня понукала:

— Постарайся, Эйприл! Ну, соображай! Нет, плохо, ты можешь лучше!

Но она творила чудеса.

Когда мы проходили римлян, она велела нам принести простыни. Мы повязали их на манер тог и устроили римский пир с вином (вишнёвым соком) и сладостями (мисс Бин принесла домашнее печенье, пряники и кокосовую стружку, а для Поппи захватила леденец). Мы склеили макет Колизея (она принесла нам фотографии, сделанные во время летней поездки в Рим) и населили его картонными римлянами, львами и христианскими мучениками. У меня ёкнуло сердце: я вспомнила несчастных Розу, Нарциссу, Колокольчик и Фиалку, но затем быстро вошла во вкус. Я сделала фигурку очень свирепого льва, а затем гладиатора с мечом, вырезанным из зубочистки.

— Молодчина, Эйприл! — воскликнула мисс Бин.

А когда мы приступили к Викторианской эпохе, я уже чувствовала себя в своей тарелке. Я увлеклась созданием изысканной виллы из картонной коробки и пакета из-под хлопьев. Я копировала мельчайшие детали интерьерера из книг по истории искусств. Но затем одна из отсталых девочек все напутала и спросила, когда будет пир в тогах.

— Нет, не путай с римлянами. Они жили за сотни лет до Викторианской эпохи, — сказала мисс Бин.

Дети её не поняли. Для них вся история казалась древней. Что римская эпоха, что Викторианская.

— Вот как мы поступим, — решила мисс Бин. — Мы нарисуем наши фамильные древа, и вы увидите, что ваши прапрапрабабушки были викторианками.

Я замерла. Я не стала участвовать в шутках о фамильных древах, дядюшке Дубе и тётушке Вишне. Я даже не взяла ручку. Я сидела, сложив руки на коленях. Ногти впились в ладони.

Мисс Бин в голубом джемпере ходила по классу, помогая то одной ученице, то другой. Она написала для Поппи крупными печатными буквами слова «мама» и «папа». Та обводила их карандашом, высунув язык от усердия.

Мисс Бин посмотрела в мою сторону:

— Давай, Эйприл. Не сиди.

Я продолжала сидеть.

Она нахмурилась и направилась ко мне:

— Эйприл! Что на тебя нашло? Начинай!

— Не хочу.

— Что ты сказала?

— Я сказала, не хочу, — громко повторила я.

Все отложили ручки и смотрели на меня с открытыми ртами.

— Мне неинтересно, что ты хочешь. В моем классе ты будешь делать то, что я говорю, — сказала мисс Бин. Она похлопала по чистому листу бумаги. — Немедленно, Эйприл.

— Ты не сможешь меня заставить, слышишь, старая дура! — закричала я.

Все замерли. Даже я не верила, что произнесла это вслух.

— Я не терплю подобной грубости от учениц, — сказала мисс Бин. — Выйди и встань в коридоре.

Я медленно пошла к двери, раздумывая, не дать ли стрекача, когда окажусь снаружи. Но в школе негде было спрятаться. Туалет, шкаф с игрушками, бойлерная — везде тебя найдут. Можно было убежать за ограду, но я ни разу не выходила за неё с того самого дня, как сюда приехала. Тот мир казался мне более далёким и чужим, чем Марс. И я покорно стояла в коридоре, ожидая звонка.

Казалось, прошли часы. В голове звенел мой собственный крик: «Ты не сможешь меня заставить!» Мисс Бин наверняка знает массу неприятных способов вынудить меня сделать так, как она требует. Я представляла себе жестокие пытки, в которых непременно участвовал хлыст Викторианской эпохи — она нам его показывала.

Наконец вышли девочки. Они с удивлением таращились на меня. Мисс Бин велела мне войти:

— Зайди в класс, Эйприл.

Она закрыла за мной дверь.

— Я требую, чтобы ты больше никогда не говорила со мной в таком тоне, — сурово сказала мисс Бин. — Пожалуйста, извинись за свою грубость.

— Простите, мисс Бин, — пробормотала я.

Она кивнула. И выдала поразительную вещь:

— А теперь мой черёд перед тобой извиниться. Я чувствую, что совершила ошибку, попросив тебя нарисовать фамильное древо. У тебя могут быть свои причины отказаться. Мне следовало подумать, прежде чем предлагать такое задание. Прости меня, Эйприл. Надеюсь, ты примешь мои извинения.

— Да, мисс Бин! Я не хотела вас обзывать. Точнее, хотела, но только потому, что мне было очень плохо. Мне нечего писать. У меня нет семьи.

Мой голос дрогнул. Лицо мисс Бин расплылось перед глазами. Я рыдала и не могла остановиться. Я выла в голос, а она гладила меня по плечу, приговаривая:

— Ну-ну...

Учительница дала мне платок, и я вытерла лицо.

— Успокоилась? — сказала она мягко. — Тогда беги на следующий урок, милая.

Я побежала. Слезы не успели высохнуть до конца, и девочки стали меня утешать, думая, что мисс Бин выместила на мне свой гнев. Я не говорила им, что на самом деле произошло. Это осталось между нами.

После этого мы с мисс Бин подружились. Разумеется, не так, как дружат ровесницы. Она осталась строгой учительницей, но я то и дело ловила её улыбку, а после урока задерживалась с ней поговорить. Иногда она советовала, какую книгу почитать или дарила открытку, посвящённую искусству. А однажды в субботу, когда мы все ещё проходили королеву Викторию, мисс Бин пришла в интернат и сказала, что поведёт меня гулять.

— Если ты не против, — сказала она.

Я не знала, что ответить. Я все ещё её побаивалась и думала, что с ней будет скучно. Одно дело — урок истории, другое дело — урок истории длиной в целый день.

Вышло иначе. Мисс Бин действительно повела меня в музей Виктории и Альберта, но там оказалось очень интересно. Затем мы пошли в сувенирный киоск и купили медвежонка, одетого как королева Виктория. Потом отправились в кафе, где все было чинно и по-взрослому. Мисс Бин сказала, чтобы я выбирала все, что захочу.

— Что угодно? — уточнила я, разглядывая пирожные и пудинги.

Я так и не смогла выбрать между шоколадным тортом и клубникой со сливками. Она заказала мне оба лакомства, но вначале уговорила съесть салат. Себе она попросила вина, что меня вначале огорошило. Я испугалась, что мисс Бин напьётся, как папочка, и будет буянить, но она выпила два бокала и осталась прежней.

Я думала, что теперь мы вернёмся в интернат, но мисс Бин повела меня по магазинам. Она показала мне «Хэрродс». Я чувствовала себя гостьей в сказочном дворце. Боялась дышать от изумления. Меня поразил зал с продуктами, особенно шоколад. Мисс Бин предложила мне попробовать белую конфету с кремом и рассмеялась, увидев блаженное выражение моего лица.

— Вкусно?

— Объедение!

— Тогда ещё по одной. Нанесём удар по диете!

Она похлопала себя по толстому животу. На ней был розовый джемпер, в котором она походила на гигантскую мармеладину. Но я не стеснялась её. Она мне нравилась.

После этого мы стали часто гулять. Выезжали на природу и ходили пешком. Мисс Бин рассказывала мне о птицах, деревьях и цветах. Иногда я не слушала. Я погружалась в собственные мысли и представляла, куда мы поедем на чай. Я воображала, будто мы одна семья и поэтому встречаемся каждые выходные. Её трудно было представить в роли бабушки и уж тем более мамы, поэтому в моих мечтах ей отводилась роль эксцентричной двоюродной тёти.

Когда приютские девчонки узнали о наших прогулках, они принялись меня дразнить. Кто-то из них заподозрил мисс Бин в дурных намерениях. Я угрожающе прошипела, подражая Джине, чтобы они заткнули рты, а не то я им покажу. После этого они оставили меня в покое.

Когда я заканчивала седьмой класс, мисс Бин решила уйти на пенсию. Почему-то я этого совсем не ожидала. В конце учебного года она сказала, что больше не вернётся в школу. Я не знала, как быть. Я сделала каменное лицо, чтобы не расплакаться.

— Будешь скучать по моим урокам, Эйприл? — в шутку спросила она.

— Я буду скучать по вас, вырвалось у меня.

Мисс Бин стала серьёзной:

— Что же... Я смогу тебя навещать. Мы можем и дальше гулять по выходным, если ты, конечно, этого хочешь.

— Хочу!

— Я тоже хочу. Мне нравится проводить с тобой время. Но пообещай, что ты не станешь чувствовать себя обязанной видеться со мной. Вдруг ты говоришь это из вежливости.

Я не верила, что она вернётся. Когда мисс Бин попрощалась с нами на общем собрании и староста школы преподнесла ей часы, чемодан и стопку книг, я разрыдалась. Как ни странно, не одна я плакала. Я обрадовалась, что строгую мисс Бин так любили. Поппи заливалась слезами. Мисс Бин подарила ей на прощание горсть леденцов. Мне она не оставила ничего, только потрепала по плечу и прошептала:

— Я скоро вернусь, обещаю.

Она собрала вещи в новый чемодан и уехала за границу. Она прислала мне две открытки, а когда вернулась, то в первую же субботу приехала в «Сказку». Мисс Бин коротко подстриглась, загорела и купила ярко-синие брюки, которые делали её ещё толще, но очень ей шли.

— Идём, Эйприл, — сказала она.

— Вы так изменились!

— Я чувствую себя иначе, — сказала она, проводя рукой по коротко стриженным волосам.

Она сказала, что я могу больше не звать её мисс Бин, ведь она уже не моя учительница. Я могу называть её по имени — Мэрион.

Приезжая в интернат, она заходила к другим учителям и обнимала Поппи, но я знала, что она здесь ради меня. Она говорила, что не скучает по школе. Мисс Бин учила итальянский, брала уроки фортепиано и три дня в неделю работала в книжном магазине. А ещё она купила домик в пригороде и готовилась к переезду. Она отвезла меня туда, чтобы посоветоваться.

— Мне важно твоё мнение, — сказала она.

Я не понимала, к чему она клонит. Так продолжалось несколько месяцев. Мы обсуждали моё будущее. Я хотела быть дизайнером (кроить и шить красные, жёлтые, синие и сиреневые платья), но Мэрион говорила, что мне надо стать историком. Она осторожно расспрашивала меня о моем прошлом. Я ненавидела эти разговоры. Я была ребёнком со свалки, Я помнила мамочку и папочку, пускай не во всех подробностях, и не хотела о них говорить. Я ощущала себя так, будто стою на вершине утёса.

Я не могла понять, зачем Мэрион упорствует, если видит, что мне это неприятно. Мы привыкли щадить чувства друг друга. Я не говорила с ней о

диетах и толстяках (Мэрион набрала ещё больше веса и купила новые широкие брюки), она не упоминала слово «мама».

— Да заткнись, Мэрион! — не выдержала я однажды.

Мы прогуливались в парке Хэмптона.

Едва слова вылетели, я закрыла рот рукой, опасаясь, что Мэрион превратится в мисс Бин и накажет меня.

Она не столько рассердилась, сколько расстроилась и попросила меня последить за тоном:

— Если хочешь, попроси другого помолчать, но не говори ему заткнуться.

— Хорошо. Помолчи, пожалуйста, и прекрати расспрашивать меня о приёмных матерях, — сказала я, ковыряя гравий носком сандалии.

— Надеюсь, ты их вымоешь, когда вернёшься в интернат, — сказала Мэрион. Помолчала. — Значит, тебе не нравятся приёмные матери?

— Нет!

— И ты не хочешь снова жить в семье?

Я с подозрением посмотрела на неё:

— А что? Кто-то хочет меня удочерить? — В глубине души поднялся страх.

— Только если ты сама этого захочешь.

— А я не хочу. Уехать из «Сказки»?

— Это как раз неплохая мысль. Эйприл, ты очень умная, тебе только надо наверстать упущенное. Если ты пойдёшь в хорошую школу и сдашь экзамены...

— Да-да, то смогу поступить на исторический факультет. Я помню. Только никакая я не умная, я столько всего не понимаю.

— А ещё у тебя совсем нет подруг, не считая Поппи.

— Ну и ладно. Мне не нужны подруги. У меня есть ты. Кстати, если меня удочерят, мы ведь больше не сможем видеться каждые выходные.

— Мы будем видеться гораздо чаще.

— Каким это образом?

Мэрион напряжённо засмеялась:

— Да, Эйприл, выходит, ты не такая умная. Я хочу тебя удочерить.

Я уставилась на неё. Она не отвела глаза.

— Ты, наверное, думаешь, это смешно. Так и есть. Я немолода, у меня нет мужа... Хотя я говорила с социальными работниками, и они считают, что это не главное. Но тебе, разумеется, было бы лучше в полной семье.

— Я не хочу полную семью!

Я думала над её словами. У меня кружилась голова. Я не знала, хочу ли я жить с Мэрион. Она была отличной учительницей и хорошей подругой, но какая из неё мать? Я не могла представить себе жизнь с ней под одной крышей.

Она в отчаянии прикусила губу. С моей стороны было жестоко медлить с ответом. Я глубоко вздохнула.

— Большое спасибо. Ты так добра, — сказала я так, будто речь шла о чашке чая, а не о совместной жизни. Я попыталась найти нужные слова: — Это было бы... чудесно.

Мэрион сухо улыбнулась:

— Ничего чудесного в жизни со старой ворчуньей вроде меня. Я буду заставлять тебя делать домашние задания, читать нотации, запрещать краситься и носить мини-юбки. Но я думаю, мы сумеем поладить. Я бы попробовала. Разумеется, настоящей матерью я тебе не стану, но...

— Я и не хочу, чтобы ты становилась мне настоящей матерью.

У меня была мать, пускай я не знала, кто она и что с ней. Я сменила столько приёмных матерей, что не хотела получить очередную, даже если Мэрион будет так называться только по бумагам.

— И как мне тебя называть? Мама? Тётя?

— Продолжай звать меня Мэрион. А если станешь бузить, мы мигом вспомним о существовании мисс Бин!

Процесс удочерения длится долго. Мэрион пришлось пройти специальные курсы, а мне — встретиться с новым социальным работником, Илень. Меня все время обсуждали, но за моей спиной.

— Там решается моя судьба, почему мне нельзя послушать? — спросила я Илень.

— Эйприл, тебе это кажется непонятным, но так заведено, — сказала она, поглаживая керамического кролика.

— Но почему так долго? Мэрион хочет жить со мной, я хочу жить с ней, зачем столько тянуть?

— Я знаю, тебе трудно ждать, но мы должны проявить осторожность. Подготовить вас обеих, собрать документы...

Внезапно мне стало плохо.

— Мэрион узнает обо всем, что написано в моем досье?

— Думаю, она уже знает, — мягко признала Илень.

— Я думала, это моё личное дело! Она что, знает о кражах, которые мы совершали с Джиной?

— Да.

— И... и о Перл?

— Да.

— И по-прежнему хочет меня удочерить?

— Да.

Я замолчала. Илень перегнулась через стол и погладила меня по руке:

— Мэрион все понимает, Эйприл. Не волнуйся. Я думаю, не должно возникнуть никаких затруднений. В моей практике уже был случай, когда одинокая женщина удочерила девочку. У вас с Мэрион все сложится замечательно.

У нас все сложилось. Может быть, не так замечательно, как хотелось.

Я покинула «Сказку». Девочки распевали песни и желали мне удачи. Поппи пела песенку про леденец — всего пять слов, зато громко и от души. Я рассмеялась, потом заплакала и не могла остановиться. Мне не нравился

интернат «Сказка», но я провела в нем пять лет и привыкла считать его своим домом. Я осталась в нем чужой, но разве это имело значение? Я всюду была чужой.

Я размышляла о том, смогу ли ужиться с Мэрион. Она приготовила мне голубую спальню с синими шторами в цветочек и покрывалом в тон. Она купила мне голубую ночную рубашку и голубой халат. Я бы предпочла более яркий оттенок и не рубашку, а пижаму, а халаты я вообще не ношу, но я притворилась, будто очень рада. Я хотела обнять Мэрион, но мы слишком долго пробыли учительницей и ученицей. Объятие вышло коротким и неловким.

Мэрион не целует меня на ночь, а гладит по плечу и подтыкает одеяло вокруг шеи. Я сбрасываю его, как только она выходит из комнаты. Ненавижу, когда что-то обматывается вокруг головы. Если я во сне забираюсь с головой под одеяло, то тут же просыпаюсь от страха.

Может быть, я провела в мусорном баке несколько долгих часов.

Разумеется, я не помню, как это было. Мне только кажется, что я помню.

Я почти приехала. Я сошла с поезда и села в метро. Меня ничто не остановит. Я знаю, куда идти.

Мне надо разыскать ресторан «Пицца Плейс» на Хай-стрит, если он все ещё существует. Даже если он по-прежнему открыт, наивно думать, что мусорные баки не поменяли за столько лет. А ещё наивнее полагать, что там я встречу маму.

Мэрион мне почти что как мать. Она ко мне очень добра. Жестоко заставляя её волноваться и думать, куда я запропастилась.

Она не станет переживать. Она испугается не больше, чем учительница, не увидевшая ребёнка из своего класса на школьном дворе. Я знаю, как выглядит мать, потерявшая ребёнка. Я помню искажённое лицо мамы Кэти. Я помню отчаянные крики мамы Ханны. В тот день нас возили в научный музей, а на обратном пути у автобуса спустило колесо. Мы задержались в дороге. Мэрион вела себя спокойно и хладнокровно. Она убеждала родителей, что ничего не могло случиться, что автобусы часто ломаются и скоро дети вернутся домой живыми и здоровыми.

Живая и здоровая. В этих словах она вся. Когда я употребила это выражение в сочинении, она обвела его кружком и сказала, что я пользуюсь штампами. Она такая живая, что готова вечно подталкивать тебя вперёд. Она такая здоровая, что кажется, будто с ней никогда ничего не случится. Вот она, живая, здоровая и надёжная.

Она нужна мне.

Но ещё мне нужна мама.

Ресторан никуда не делся. Он стоит на прежнем месте, в тупике. Я заглядываю в окна. Посетители едят пиццу. В зале нет одиночек. Из окна не смотрит женщина, мечтающая увидеть дочь.

Я прохожу мимо и сворачиваю в тупик.

Её нет и там.

Не знаю почему, но я плачу. Её здесь и быть не могло.

Я в том самом месте. Вот и мусорный бак. Не такой круглый и серебристый, как я себе представляла. Череду ржавых контейнеров, пахнущих отбросами. Не знаю, существовал ли мой бак в природе или же газетчики выдумали его для красоты. Я смотрю на контейнеры и мелко, часто дышу. Как можно бросить младенца в эту чёрную, вонючую пасть? Я много раз представляла себе эту картину, но не догадывалась, что здесь стоит такой смрад.

Представляю, как от меня несло после этого мусора. Но студент не содрогнулся от отвращения, а согрел меня под рубашкой. Так было написано в газете. Быть может, все это выдумки.

Это моя жизнь, а я не знаю, где в ней правда, а где вымысел. Что-то я придумала сама, заполняя пробелы. Мне кажется, что меня не существует. Каждый рисует меня по-своему, как ему удобнее.

Я не знаю, где настоящая я. Я не знаю, кто я.

Почему её нет? Неужели она даже не вспоминает обо мне в день моего рождения? Неужели ей не хочется знать, какой я выросла? Я думаю о ней каждый день и каждый час.

Ей нет до меня никакого дела. Она родила меня, выбросила в контейнер и больше никогда не вспоминала. Что это за мать, которая избавляется от собственного ребёнка? Может, она и не стоит того, чтобы её искать. Она не хочет, чтобы я её нашла. Она не оставила мне ни записки, ни клочка одежды, ни даже пелёнки.

Я бью ближайший контейнер кулаком. Больно. На костяшках выступает кровь, и я её слизываю. На стенке контейнера нацарапаны ругательства. Я читаю их вслух. А ещё — цифры. Одиннадцать цифр. Телефон. А снизу тем же почерком: «Позвони мне, малышка».

Я читаю и читаю эту надпись.

Она оставлена здесь для меня.

Нет, это безумие. Она не имеет ко мне никакого отношения. Парень с девушкой встречались в этом тупике и теперь хотят связаться друг с другом. «Малышка». Простое обращение. Грант называл Ханну малышкой. Ей это очень нравилось, а мы с Кэти тайком от неё считали, что это звучит так, будто он не считает нужным запоминать её имя.

А вдруг «малышка» — это все же я? Она могла не читать газет и не знать моего имени. Это её единственный способ обратиться ко мне. Малышка. Её малышка. Она оставила номер. Надо только позвонить...

У меня остался фунт. Я могу сделать звонок.

А ещё я позвоню Мэрион. Непременно позвоню. Как только решу, что мне делать. Я роюсь в кармане и вытаскиваю карточку с телефоном Тани. Я списываю на неё нацарапанный номер и три слова под ним. Записанные моим почерком, слова наполняются большим смыслом.

Я выхожу из тупика. У меня дрожат колени. Я иду мимо окон «Пицца Плейс» к автомату чуть ниже по улице.

Осталось набрать номер — и я её услышу.

Если захочу.

Разумеется, я этого хочу.

Или нет? Я напугана. А если она окажется не такой, как я себе представляла? Вдруг она строгая, злая или просто дурочка? После этого звонка я уже не смогу рисовать её так, как мне нравится. Я не смогу выдумывать причины, по которым она бросила меня в контейнер.

Надо ей позвонить. Она ждёт у телефона и надеется. Быть может, она ходила сюда год за годом, думая, что однажды я появлюсь. Быть может, она пыталась меня отыскать. Мечтала, что однажды мы встретимся. Вдруг я нужна ей так же, как она мне?

Я очень хочу позвонить.

И очень боюсь.

Мне не обязательно с ней говорить. Достаточно набрать номер и слушать. Слушать её голос.

Я захожу в будку и достаю монету. Руки у меня трясутся, и она выскальзывает. Здесь пахнет так, словно будку используют как туалет. Меня подташнивает. Что я здесь делаю? Почему не еду домой? «Позвони домой. Скажи Мэрион, что ты жива, здорова и скоро вернёшься».

Но что, если я позвоню маме и она решит забрать меня к себе? Вдруг мы встретимся, обнимемся и уже не сможем разлучиться? Что будет с Мэрион?

Я не могу ей позвонить.

Я позвоню кому-нибудь другому и попрошу совета.

Кэти? Ханне? Они мои подруги. Они всегда готовы помочь. Но если рассказывать, так с самого начала, а иначе они меня ни за что не поймут.

Я звоню Тане. Она снимает трубку после первого гудка.

— Привет! Это Таня, — на одном дыхании говорит она.

— Таня, это я, Эйприл. Прости, ты ждала звонка? Я могу перезвонить позже.

— Нет-нет, что ты. То есть привет, Эйприл.

— Таня, я не знаю, что мне делать. У меня есть номер. Возможно, мамин. А скорее всего, нет. Но я боюсь звонить. Безумие, да?

— Есть немного!

— Тебе никогда не бывает страшно?

— Нет! Ну, иногда. Но если хочешь чего-то, придётся рискнуть.

— Я не знаю, чего я хочу. Понимаешь, если это мама и она окажется милой и любящей, то все в порядке. А если она совсем другая? Что, если...

— Ой, да прекрати ты со своими «если»! Позвони ей! Позвони, а потом звякни мне и расскажи, как все прошло.

— У меня не хватает денег. Я тебе потом позвоню.

— Тебе нужен мобильный.

— Знаю.

— У меня роскошная модель. Две линии, память на кучу SMS, все что хочешь.

— Здорово.

Таня вздыхает:

— Только мне никто не шлёт SMS. И не звонит.

— Ну я же позвонила. Ты мне очень помогла.

— Что решила?

— Рискну.

— Все будет хорошо. Поверь старой мудрой Тане. — Её голос веселеет. — Открою бюро добрых советов по телефону. Давай, Эйприл. Удачи. Не дрейфь.

Я вешаю трубку. Осталось сорок пенсов. Вернуться домой и позвонить оттуда? Мне не хватит времени хоть что-то объяснить.

Сколько времени занимает фраза: «Здравствуйте, вы моя мама?»

Чего же я жду?

Я набираю номер. Гудок, второй, третий, и вот на другом конце снимают трубку:

— Алло?

Мужской голос. Боже мой, и что теперь делать? Я сглатываю. Я не нахожу слов.

— Алло? — повторяет он.

Мне нечего ему сказать. Можно вешать трубку.

— Подождите, — быстро говорит он, будто читает мои мысли. — Кто вы?

— Вы... вы меня не знаете.

— Ты не малышка? Ну конечно, ты уже не малышка. Ты не та девочка, которую нашли в мусорном баке?

— Я давно не малышка. Мне четырнадцать.

— Исполнилось сегодня, — говорит он. — С днём рождения, Эйприл. Или ты уже не Эйприл?

— Эйприл. Но откуда вы меня знаете? — Я замираю. — Вы мой папа?

— Нет! Хотя, странное дело, я всегда думал о тебе как о своей дочурке. Поверить не могу, что слышу твой голос. Я не мог выкинуть тебя из головы. Попытался тебя разыскать, но мне сказали, что тебя удочерили, и я не хотел пугать тебя прошлым. Не знаю, что тебе рассказали, но ты знаешь про мусорный бак, раз нашла мой номер!

— Значит, вы тот студент, который меня спас? Фрэнки? — Я смотрю на дисплей. — О нет, у меня заканчиваются деньги!

— Ничего страшного. Позвони оператору и скажи, что звонок за мой счёт.

Идут гудки.

— Обещаешь, Эйприл? Обещаешь перезвонить?

— Обещаю, — говорю я, и нас разъединяют.

Я звоню оператору, называю номер — и вот мы снова на связи.

— Спасибо тебе, спасибо! Я ждал четырнадцать лет. Я бы не пережил, если бы ты снова исчезла! — говорит он. — Где ты? Давай встретимся!

— Я в двух шагах от «Пицца Плейс».

— Я сейчас буду! Мне ехать всего двадцать-тридцать минут. Ты не против? Поужинаем пиццей?

— Договорились. Ты там с кем?

— Ни с кем.

— Как? Ты там совсем одна?

Он так ужасается, будто он действительно мой отец.

— Со мной все хорошо.

— Подожди! Где твоя семья? Они знают, что ты там?

— Моя приёмная мама, она... Нет, вообще-то она не знает, где я.

— Она не будет волноваться?

Я сглатываю:

— Будет.

— Эйприл... Не плачь.

— Я ей так и не позвонила. Я все собиралась, но не могла решиться, а теперь...

— Вот что мы сделаем. Позвони ей прямо сейчас. Объясни, где ты. Скажи, что я скоро подъеду. После ужина я отвезу тебя домой или посижу в ресторане, пока она сама за тобой не приедет. Эйприл... Эйприл, ты запомнила?

— Думаю, да.

— Позвони ей прямо сейчас — за её счёт, хорошо?

— Да.

— А потом иди в «Пицца Плейс» и закажи все, что хочешь — я оплачу, когда приеду.

— Вы... вы так добры.

— Я так долго мечтал об этом дне! С той самой секунды, когда спрятал тебя под рубашкой...

— Все правда было так, как написано в газете?

— Ну конечно. На тебе не было одежды. Ты совершенно замёрзла. Я хотел тебя согреть.

— У моей мамы не нашлось для меня даже шарфа или свитера?

— Мне кажется, она не была готова к твоему появлению.

— Она так и не пришла?

— Нет. Я постоянно выходил смотреть, но она так и не объявилась. Я хожу туда каждый год первого апреля и оставляю телефон. Моя жена считает, что я не в себе.

— Вы женаты?

— У меня двое сыновей. Когда я брал их на руки, то вспоминал о тебе. Я так хотел тебя увидеть и убедиться, что тебе хорошо. Эйприл, тебе хорошо? Ты сказала, у тебя есть приёмная мама. Вы ладите?

— Да. Но сейчас она наверняка вне себя от гнева.

— Позвони ей! И дай ей мой мобильный, чтобы она со мной созвонилась. Вдруг она будет против нашей встречи.

— Но вы спасли мне жизнь!

— Не драматизируй. Рано или поздно тебя бы кто-нибудь обнаружил, не я, так другой. Но я очень рад, что это оказался именно я. Хорошо, я лечу к тебе. Я высокий, темноволосый, на мне синяя джинсовая куртка...

— А я маленькая, у меня длинные светлые волосы...

— Точь-в-точь как я себе представлял! Не могу дождаться, когда тебя увижу.

Я вешаю трубку, а руки дрожат. Он говорил так искренне. Он действительно любит меня, хоть я ему и никто.

Мэрион любит меня, хоть я ей и никто. Я себя просто обманывала. Иногда мне хочется, чтобы она любила меня чуть меньше, но разве сердцу прикажешь? Она переживает из-за каждой мелочи. Рассердилась, когда я проколола уши, только потому, что игла могла быть плохо простерилизована. Когда у меня разболелась голова, она помчалась со мной в больницу, боясь, что я подхватила менингит. А когда застрял наш автобус, Мэрион только притворялась спокойной. Она так отчаянно теребила подол своего розового свитера, что он расползся. Она больше не смогла его надеть.

Мэрион с радостью обняла бы меня, если бы я только позволила. Это я отталкивала её. Это я не подпускала её к себе. Не хотела чересчур сближаться с ней. Я не хотела, чтобы Мэрион стала мне мамой. У меня была мама.

Я так долго жила надеждой её разыскать. Думаю, мне уже никогда её не найти. Это она — ненастоящая мама.

Я звоню оператору и называю номер Мэрион. Оператор спрашивает, готова ли Мэрион оплатить звонок. И вот нас соединяют. Я не могу говорить. Я только плачу.

— Мэрион, прости... прости меня...

— Эйприл, с тобой все хорошо? — отчаянно пытается докричаться она.

— Да, все хорошо. Со мной весь день случались удивительные вещи. Прости, что я не звонила. Ты очень волновалась?

— Ну конечно! Я уже звонила в полицию.

— Ой, нет! За мной охотится полиция?

— Они ищут тебя, глупенькая. Чтобы привезти домой целой и невредимой. Где же ты была? Я звонила Кэти, Ханне, всем, кого могла вспомнить... Я говорила с Илень... Рассказала ей, как мы поссорились.

— Прости меня, Мэрион. Я вела себя как испорченная, неблагодарная девчонка. Серёжки очень красивые.

— Веришь или нет, я все-таки дала слабинку и купила тебе мобильный телефон.

— О Мэрион!

— Но теперь я не знаю, дарить его тебе или нет. Впрочем, я хотя бы буду знать, где ты бродишь. Ты свела меня с ума, Эйприл.

— Прости. Я не хотела. Я все время думала о прошлом, о том, как меня выкинули в помойку, и... Мэрион, ты ни за что не угадаешь, что случилось!

Она перестаёт дышать.

— Ты нашла её? Ты нашла свою маму?

— Нет. Нет, я нашла Фрэнки, помнишь, студента, который вытащил меня из бака!

Я рассказываю, что мы договорились встретиться в «Пицца Плейс». Мэрион снова начинает волноваться, записывает номер его мобильного и решает приехать.

— Но ведь это далеко, а ты так устала!

— Ещё бы!

— Прости меня, Мэрион.

— Вот погоди, приеду, и ты у меня узнаешь!

— Небось жалеешь, что взялась меня опекать? — Я останавливаюсь на полуслове. — Да? Ты за этим звонила Илень? Ты решила от меня отказаться?

— Что ты, Эйприл! Конечно же, нет. Ты моя девочка.

— А ты — моя, — отвечаю я.

Когда я вешаю трубку, Мэрион тоже плачет.

Я промокаю глаза, сморкаюсь и иду в «Пицца Плейс». Я думаю о маме, которая шла этим же путём четырнадцать лет назад. Теперь фантазия кажется мне далёкой и зыбкой.

Я не знаю, действительно ли она такая, как я представляла. Она может оказаться кем угодно. Я сяду рядом с ней в автобусе, пройду мимо в толпе, но мы не узнаем друг друга. Наверное, глупо придавать такое значение кровному родству, когда это единственное, что вас связывает.

Удивительно, как я могла любить её все эти годы. Мне скорее нужно было возненавидеть её за то, что она выбросила меня в мусорный бак. Я бы не смогла так поступить со своей дочерью, что бы ни случилось. Я бы обняла её, прижала к себе и никому не отдала. Я буду своим детям хорошей матерью.

У меня нет мамы. Но когда-нибудь я сама стану мамой.

Настоящей мамой.

Я захожу в «Пицца Плейс». Официант улыбается, подводит меня к столику и спрашивает, одна я или кого-то жду.

Я мгновение колеблюсь.

— Я жду... свою семью, — отвечаю я.

Я закончу эту повесть новым началом.

— Поразительно, Эйприл! У меня такое чувство, что мы давным-давно знаем друг друга, — говорит Фрэнки.

— Да. У меня такое же чувство. Не могу поверить, что все это на самом деле. Я часто фантазирую. Особенно о том дне, когда я родилась.

— Я его прекрасно помню. Я расскажу тебе о нем во всех подробностях. Это был самый необычный, самый удивительный день в моей жизни. Я готов все отдать ради моих мальчиков, но почему-то, впервые поднимая их на руки, я не испытывал такого чувства, как тогда. Я тебя обязательно с ними познакомлю. С ними и с моей женой.

— А я познакомлю тебя с Мэрион, моей приёмной мамой.

— Она не запретит нам видеться?

— Конечно нет.

— И мы всегда будем вместе праздновать твой день рождения.

Я радостно киваю. Я так счастлива, что начинаю плакать.

— Прости. Ничего не могу поделать. Я все время плачу.

— Если бы ты не плакала, лёжа в баке, я бы тебя не нашёл. Твой плач спас тебе жизнь, Эйприл.

Он берет меня за руку и рассказывает о первом дне моей жизни. Как я выглядела, как плакала, как сжимала его палец крохотным кулачком. Он дарит мне осознание себя. Кусочек истории. Моё начало.